Имран Касумов

ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

СЛОВО О ВАГИФЕ

Сегодня в этом большом и торжественном зале, в столице нашей Советской Родины, мы завершаем юбилейные празднества в честь 250-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта Молла Панаха Вагифа.

Среди светил, украшающих высокий поэтический небосклон, над маленькой, но удивительно красивой азербайджанской землей уже свыше двух веков излучает яркий и теплый свет далекая звезда поэзии Вагифа.

Наследник величайшей гуманистической поэзии, у истоков которой возвышается могучая фигура несравненного словотворца Низами, чей вдохновенный стих определил Ренессанс средневековой поэзии Востока, приняв непоколебимую веру в победу и торжество человеческого духа от таких корифеев, как Насими, Хатаи и бессмертный лирик Физули, - Вагиф художническим и гражданским подвигом своим вошел в сокровищницу главных духовных ценностей азербайджанского народа.

Эта сокровищница была бережно пронесена народом через исторические бури и потрясения, и если сегодня мысленно окинуть взглядом азербайджанскую землю, так изумительно, так чудесно преображенную за советские десятилетия, если пройти по нефтяным эстакадам, возведенным над вечно беспокойными водами Каспия, побывать в обретших вторую молодость древних городах и великолепных городах новых, выросших на глазах одного поколения, заехать в любое из живописных сел, поднявшихся к неведомым доселе высотам, быть на стройках и на курортах, в научных центрах и на заводах, - можно всюду обнаружить незримого, но властно присутствующего во всей этой кипучей современности страстного, изящного и нежного Вагифа.

- Задержите в полете удар крыла, - можно, ни к кому не обращаясь, наугад прочесть эту строку.

И здесь же услышать, как старик или юноша, рабочий, ученый или седовласая мать, труженик полей или школьник восторженно продолжат:

Слово есть у меня для вас, журавли.
Вереница ваша откуда летит?
Начинайте об этом рассказ, журавли.

Так конкретно подтверждается мысль, что народ был, остается и будет лучшим ценителем поистине прекрасного, так наглядно демонстрируется неизбывная жизнеспособность лирического наследия Вагифа, так становится близким то далекое прошлое, из которого человек и идет в будущее.

Судьба Молла Панаха - уроженца маленького селения в северо-западной части Азербайджана (в нынешнем Казахском районе республики), избравшего псевдонимом для себя слово «Вагиф», что значит «сведущий», - была драматичной, полной конфликтов и тяжелых испытаний. Учеба в старой мусульманской духовной школе, изучение скучных религиозных догм, трепетно-радостное знакомство с поэзией великих предшественников, дружба с земляком и собратом по перу - Видади, дружба, которую иначе как единством противоположностей и не назовешь, ибо с первых же стихотворных строк Вагиф противопоставил безысходной скорби Видади огненный накал своего оптимизма, - вот вехи его юности.

Эта юность проходила в напряженное время многократного повторения извечных страданий родного края - поэт прокладывал свою жизненную дорогу в стране, которую еще Страбон называл «воротами Востока», через них пролегал великий караванный путь, соединяющий Азию и Европу. В стремлении овладеть этими «воротами» вместе с мирными торговыми караванами, сюда с огнем и мечом вторгались грозные завоеватели прошлого - Помпеи, Чингиз, Тимур, кто только не пролил здесь рек крови!

Во времена Вагифа над Азербайджаном не раз нависала зловещая угроза иранской монархической экспансии, а родная земля терзалась на части из-за постоянных междоусобиц.

Вагиф переезжает в Карабах, где высоко в горах Малого Кавказа вырос город-крепость Шуша, сыгравший роль оплота национальных сил и сближения соседних братских народов в борьбе с нашествиями иноземных захватчиков.

Поэт учительствовал в окрестном селении, затем открыл школу в самой Шуше. Стихи его передавались из уст в уста и молва о даре Вагифа, его уме и дальновидности привлекла внимание правителей Карабаха, они приблизили его ко двору, назначив советником по внешним делам, а затем и главным визирем ханства.

Историки свидетельствуют о блестящих дипломатических способностях поэта, его государственной мудрости, глубоких и разносторонних научных познаниях, способствовавших рождению крылатой пословицы, и по сей день бытующей в народе и гласящей: «Грамотеем может стать каждый, но не каждый - Молла Панахом».

Вагиф способствовал процветанию и укреплению Карабаха, сближению его с другими азербайджанскими ханствами, был в числе тех замечательных провидцев, которые смогли увидеть (а затем и практически многое сделать) спасительную ориентацию на север, на союз с Россией, на дружбу с великим русским народом.

Таким образом, не только своим поэтическим творчеством, но и государственной деятельностью Вагиф оказался провозвестником лучших дум и чувств родного народа.

Тем не менее над этим народом продолжали сгущаться мрачные грозовые тучи, и в 1795 году эти тучи разверзлись в опустошительное нашествие полчищ Ага Магомеда Каджара,

Свирепое воинство Каджара подошло к стенам Шуши, но стойкость его защитников вынудила завоевателя предпринять длительную осаду крепости.

Зная, что в числе вдохновителей этого самоотверженного сопротивления находится знаменитый поэт, Каджар, заставив своего придворного стихотворца обыграть слово «Шуша», что значит «стекло», послал осажденным надменное ультимативное двустишие:

Безумец! Град камней летит с небес,
А ты в стеклянных стенах ждешь чудес.

Вагиф не замедлил с ответом, он написал:

Меня стеклом создатель окружил,
Но в крепкий камень он стекло вложил.

Это не было состязанием в остроумии, ответ Вагифа выразил правду соотношения сил, и Каджару в конце концов пришлось понять, на какой камень наткнулась его смертоносная коса: после 33 дней тщетной осады и штурма Шуши он был принужден убраться восвояси.

Весна следующего года ознаменовалась встречей Вагифа во главе карабахского посольства с генералом Зубовым, прибывшим в Азербайджан с русским войском.

Посольство заручилось поддержкой и обещанием помощи русского правительства в случае новой захватнической войны, но вскоре русская армия была отозвана, и, пользуясь этим, Каджар поспешил отправиться в новый поход на Карабах.

Изнуренный предшествующим нашествием, голодом, эпидемией чумы, Карабах оказался не в силах отразить вражеские силы. Каджар овладел Шушей, на ее улицах заполыхало пламя вражеских костров, потекли потоки крови, выросли горы черепов.

Беспредельную жестокость завоеватель проявил прежде всего к сторонникам сближения с Россией, и в первую очередь к плененному Вагифу.

Множество преданий связано со встречей лицом к лицу опьяненного долгожданной победой деспота и любимого народного поэта, при которой Вагиф проявил изумительные образцы мужества и человеческого достоинства, но не предания, а факт, что Каджар уготовил поэту и его сподвижникам страшную смерть, велев кузнецам подковать копыта коней острыми шипами, чтобы всадники, бросившись на пленников, превратили их тела в кровавое месиво.

Мы не знаем, о чем думал Вагиф в ту давнюю летнюю ночь, заточенный в темницу, в ожидании исполнения приговора.

Вспоминал ли он счастливые часы вдохновения, рождающие на свет жемчужные строки его стихов, или глаза людей - своих слушателей и поклонников, влюбленно вбирающих в себя мелодии его газелей, прекрасное ли лицо любимой, орошенное слезами предстоящей разлуки...

Вспоминал ли он страницы книги многострадальной истории своей трудолюбивой, гостеприимной страны?

А возможно, он, зная, какого рода пытка предстоит ему с первыми лучами встающего солнца, вспомнил и древнюю легенду о властелине и кузнеце.

Легенда эта очень коротка: владыка под страхом смертной казни велел кузнецу приготовить за одну ночь сорок тысяч гвоздей для подков коней своего войска. Кузнец, понимая несоразмерность задачи с его возможностями, приготовился принять смерть, однако утром разнеслась весть о кончине владыки, и от кузнеца потребовали всего четыре гвоздя, чтобы заколотить гроб господина.

Почему именно эту легенду? Да потому, что именно так и случилось с Вагифом.

С зарей в темницу вошли стражники и сообщили, что Каджар убит в своей опочивальне, а Вагиф свободен.

Потрясенный этой улыбкой судьбы, поэт сочинил стихотворное послание старому другу Видади, оценивая неожиданное избавление всесильным могуществом добра.

Видади, ты на черствые эти сердца погляди,
И на время, что мчится вперед без конца, погляди,
На судьбу, что злодея внезапно сровняла с землей,
И на праведный гнев, десницу творца, погляди.

Однако он был в данном случае наивен, великий Вагиф: он совершенно недооценил происк врага внутреннего - недругов из феодальной знати, напуганных демократизмом и нарастающей славой поэта, рвущихся к безраздельной власти.

В том же 1797 году, в год своего фатального спасения, Вагиф был казнен по приказу военачальника ханского двора: вместе с сыном сброшен со скалы в пропасть, а произведения его были преданы огню.

Так умер главный визирь азербайджанского ханства Карабах - Молла Панах Вагиф, но всепожирающий огонь, превративший в пепел его рукописи, оказался бессильным - есть

истины, которые не тускнеют от повторения: поэт, тем более большой, тем более великий, - умереть не может.

Трепетная муза Вагифа принесла слишком много новых качеств в поэтическую литературу мира, чтобы она могла быть предана забвению, - эта муза несла в себе животворный дух идеалов духовного раскрепощения человека, и в этом смысле Вагиф может быть отнесен к основоположникам нового, реалистического направления азербайджанской поэзии, к числу самых значительных художников нового Возрождения на Востоке.

Я уже говорил, что Вагиф был достойным продолжателем творчества своих великих учителей - Низами, Насими, Физули, классическая поэзия была Олимпом мастерства и восхождения, ей он посвятил всю жизнь. Но на поэзию Вагифа оказало сильное влияние и устное народное творчество, многокрасочная ашугская поэзия, и неоценимая заслуга поэта - это достижение доселе невиданного органического сплава классики и фольклора, сплава, послужившего строительным материалом для маяка, на луч которого держали курс корабли больших поэтов последующих времен.

Этот маяк был ориентиром в сложном движении азербайджанской поэзии к реальности, мудрой простоте, живым чувствам, к избавлению от окаменевших бездыханных штампов схоластики.

Вагиф создал огромное количество неувядаемой свежести газелей, гошм, мухаммасов, - все они отличаются ясностью, пластичностью, эмоциональностью, они предметны, а не абстрактны, все они написаны поистине народным языком.

Герой вагифовской лирики человечен, досягаем, «приземлен» в лучшем понимании этого слова.

Такая лирика утверждает жизнь, а не отвергает ее, она радостна, а не скорбна по самой своей природе.

Человеческая судьба Вагифа была трагична, трагична была и его муза.

Он шел по своей поэтической дороге с высоко поднятой головой, прославляя чудо природы - женщину, пел любовь, мужество, верность, дружбу, красоту.

Если сердца живого не кончился бой,
Все султаны и ханы ничто пред тобой,
Наслаждайся своей беспечальной судьбой,

звал он Видади в стихотворном диалоге.

Но по обе стороны его дороги, простираясь до самого горизонта, лежали бескрайние поля жестокой действительности. Чудовищная несправедливость, богатство власть имущих и нищета людей труда, жажда наживы, мракобесие, вероломство, царящие при дворе, которому он служил своим умом и энергией, - всех этих поразительных контрастов не видеть Вагиф не мог.

Он, величайший жизнелюб и глашатай счастья, к концу жизни приходит к печальному итогу: нет счастья в том мире, что его окружает, в мире насилия, лжи, унижения.

Я правду искал, но правды снова и снова нет,
Все подло, лживо и криво - на свете прямого нет... -

пишет Вагиф тому же Видади.

Но скорбь - это лишь начало внутренней реакции на виденное и пережитое, в том же мухаммасе поэт поднимает голос протеста, возвышающийся до беспощадной критики и обличения пороков века.

Он вкладывает в этот протест весь жар огненного сердца, он страшен в гневе и силен в обвинении, и этой акцией вновь и вновь раскрывает безраздельность своей художнической и гражданской сущности.

Он остается в веках поэтом, человеком, гражданином, и в этих немеркнущих качествах он украшает высокий поэтический небосклон великой азербайджанской поэзии.

Он входит в современность не мертвой, пусть даже очень дорогой музейной ценностью, он вплетается в мощные и сложные ритмы нашего сегодня, он не безмолвный памятник, а участник празднеств в честь 250-летия со дня его рождения, он присутствует здесь во всем своем мелодическом многоголосии, хотя бы в лице тех двух московских студентов, встретивших нас при входе в этот прекрасный зал знакомыми строками:

Задержите в полете удар крыла,
Слово есть у меня для вас, журавли...

Дни Вагифа вылились в роскошный литературный праздник - мы были очевидцами и свидетелями, как звучит голос поэта на великом русском языке, мы слушали его стихи на языках других братских народов, на языках народов многих и разных стран нашей планеты.

Совершенно очевидно, что Вагиф обладал даром воображения, но в самой пылкой фантазии своей, самом голубом сновидении, он и представить не мог, что его наследие станет причиной такого праздника, ставшего возможным только при том общественном строе, избрав который его народ движется к солнечным горизонтам будущего.

Вот почему, товарищи, говоря о поэте, жившем и творившем два века назад, мы еще и еще раз обращаем взор к величайшей социалистической революции, возвратившей народам страны их духовные ценности, мы еще и еще раз обращаем взор к нашей славной ленинской партии, возглавляющей невиданный расцвет новых социалистических культур.

Вот почему, говоря о незабытом вчерашнем дне, мы смотрим в завтра!

Колонный зал Дома Союзов,
30 ноября 1968 года

МАСТЕР РОМАНА

На склоне лет Мамед Саид Ордубады являл собою строго подтянутого человека с вечно нахмуренными бровями и с неизменной толстой палкой, на которую он опирался при ходьбе. Первое же, пусть мимолетное знакомство с ним убеждало каждого в том, что суровая внешность этого признанного мастера слова обманчива: за суховатой замкнутостью мгновенно проступали мягкость, простота, радушие, а за всем этим и нечто гораздо большее - пристальный неизбывный интерес к человеку, тайнам его внутреннего мира, к его радостям и тревогам.

Умение Ордубады неожиданно и очень быстро располагать к себе людей было не только составной частью его человеческого характера, но и основой технологии его писательской работы: все или почти все, что создал Ордубады в прозе, поэзии, драматургии, - это главным образом художественно переплавленные, обобщенные, заключенные в разные оригинальные формы его личные воспоминания о тех людях, которых он видел и знал, о тех крутых дорогах истории, по которым он шел вместе с ними.

Эта дорога началась еще в прошлом столетии в азербайджанском захолустном городке Ордубаде, утопающем в зелени фруктовых садов, в годы, когда у сына всеми уважаемого местного учителя Гаджи Ага вместе с первыми прочитанными книгами и познаниями в азербайджанском, арабском и фарсидском языках стали открываться глаза на окружающий мир - дряхлый, но цепко держащийся за вековые устои, чудовищно несправедливый мир, давший человеку труда одни лишения и невзгоды, прочно зажавший его в тисках невежества и мракобесия.

Казалось бы, все просто: одни потом и слезами орошают ордубадские сады, а маленькая кучка других наслаждается чудесными плодами этих садов. Но оказалось, что

найти выход из этой несправедливости далеко не просто - прошли юношеские годы, отданные стихам, в которых абстрактное добро боролось с таким же абстрактным злом, прошли десятилетия интеллектуального и нравственного возмужания, бесконечных поисков, потерь и находок, прежде чем Мамед Сайд пришел к той единственной правде, которая стала знаменем всей его долгой и яркой жизни, - к правде революции, к свету ленинских идей, к высоким коммунистическим идеалам.

Нахичевань, города и веси Южного Азербайджана, Царицын, Астрахань, а главное - Баку, мощный пролетарский центр с вулканическими взрывами, - вот вехи первых жизненных дорог писателя, определившие его взгляды на действительность и на соотношение сил в этой действительности.

Придя к правде Революции, Ордубады остался ей верен до последнего дыхания.

Предреволюционная пора жизни Ордубады изобиловала бесчисленными бедами и несчастьями. Но в литературном смысле он оказался в ряду тех счастливцев, которые не только исследовали гуманистические ценности своих великих предшественников, но формировались и развивались в непосредственном общении с высокими художественными талантами своего времени. Молодость Ордубады была временем, когда из уст в уста, из квартала в квартал, из города в город, из деревни в деревню передавались преисполненные горького сарказма стихи гениального сатирика Сабира. Молодость Ордубады была временем всенародной популярности революционно-демократического журнала «Мола Насреддин», возглавляемого крупнейшим мастером азербайджанского критического реализма Джалилом Мамедкулизаде. Особо следует отметить, что истоком будущего бурного романного творчества Ордубады явилась его кипучая журналистская деятельность - фельетоны и сатирические стихи, выражающие народную боль, направленные против клерикалов и богатеев всех мастей. В то время сабировский образ «смеющегося печальника» вдохновлял перо Ордубады.

Огромное воздействие на писателя оказали революционные события 1905 года, а вслед за ними - освободительная борьба в сопредельной стране - Иране.

Ордубады был членом организованного тогда Общества помощи этой борьбе, что выразилось не только в его повседневной общественной деятельности, но и в литературной работе. Он написал два романа - «История двух юношей» и «Несчастный миллионер», понимая, конечно, что за них ждут его не лавровые венки, а гонения. Через несколько лет все члены общества были арестованы, а вскоре, в 1913 году, Ордубады был сослан в Царицын.

Гонения подорвали физические силы писателя, но не могли остановить формирование его как гражданина и художника. В Царицыне Ордубады, продолжая писать, установил контакты с бакинскими журналами и газетами, завязал связи с местными революционерами.

Долгожданный очистительный шквал Октября, достигший берегов Волги, вдохнул новые живительные силы в талантливого писателя: он вошел в ряды XI Красной Армии, а в 1918 году вступил в большевистскую партию.

Зрелым и отважным поэтическим борцом и художником, чье проникновенное слово служило трудовому человеку, Ордубады открыл совершенно новую главу книги своей жизни.

Ордубады оставил много блестящих публицистических и стихотворных страниц, но прежде всего нам дороги его многочисленные романы. Именно ему, Ордубады, выпала честь вписать свое имя в историю азербайджанской литературы как основоположника ее исторического и историко-революционного романа.

Среди романов Ордубады особое место занимает его четырехтомная эпопея «Тавриз туманный», в которой мощной кистью выписаны картины зарождения и роста освободительного движения среди обездоленных, изнемогавших от вековой эксплуатации широких трудовых масс в Иранском Азербайджане.

Трудно в кратком слове охарактеризовать многие несомненные выдающиеся достоинства этого многопланового повествования. Но одну его особенность хочется выделить: медлительный, малоподвижный Восток, пожалуй, впервые предстает здесь в

ярком динамизме социальных борений, в непримиримых противоречиях и столкновениях, в обнаженности классовых отношений.

Проза Ордубады энергична, остросюжетна, беллетристична в лучшем значении этого слова, что обеспечивает ей постоянный читательский успех.

Широкое читательское признание дало писателю новые силы для решения большой задачи - создания серии историко-революционных романов: «Подпольный Баку» - с его превосходно выписанной интернациональной средой бакинских рабочих; «Борющийся город» - о героической Бакинской коммуне во главе с 26 комиссарами, бессмертными сынами революции, сложившими головы за ее победу; и, наконец, «Мир меняется» - об окончательном установлении советской власти в Азербайджане, о приходе на помощь бакинскому восставшему пролетариату частей легендарной XI армии, роман, где в центре - образ Сергея Мироновича Кирова (писатель знал его еще по Астрахани, а затем многократно общался с ним в начале 20-х годов, когда Киров возглавлял азербайджанскую партийную организацию).

Так Ордубады вновь подтвердил свою художническую приверженность тому, что он видел и знал сам. Впрочем, впоследствии художественная фантазия, помноженная на пытливую скрупулезность историка, позволила ему создать и совсем иное полотно, обращенное к далекому XII веку, - роман о могучем Низами, чья поэзия стала венцом восточного Ренессанса. Я говорю о романе «Меч и перо» - одном из самых популярных у миллионов разноязычных читателей произведений Ордубады.

И все же, словно бы подтверждение того, что этот исторический роман был в его работе лишь исключением из правила, Ордубады после него с еще большей настойчивостью обращается к темам современности, создавая ряд книг о Советском Азербайджане.

Судьба уготовила выдающемуся азербайджанскому писателю-коммунисту долгую жизнь - он не дожил всего двух лет до своего 80-летия. Это была жизнь трудная, но прекрасная. А его замечательным книгам уготована несравненно более долгая жизнь: они будут с нами всегда.

«Литературная газета»,
22 ноября 1972 года

СЛОВО О НАСИМИ

Сегодня, когда за окном вступает в свои права осень с ее похолоданием и листопадом вокруг, мы с весенним солнечным светом в душе собрались в этот прекрасный театральный зал, чтобы торжественно завершить празднование 600-летия со дня рождения одного из выдающихся рыцарей мировой поэзии Имадеддина Насими.

Перу Насими принадлежат слова:

Я - этот век и век грядущий, хотя, наверно, никогда
Не умещусь я в этом веке, да и в другом не умещусь, -

и они оказались вещими словами, которые чаще всего повторялись в Баку в дни его юбилейных празднеств.

Эти большие литературные торжества, начавшись на моей удивительно живописной азербайджанской земле, красиво вписавшиеся в современную панораму ее стальных эстакад, перерезавших синюю гладь Каспия, и в очертания гигантских заводских корпусов, в белые массивы хлопковых полей, в гущу плодоносных садов, в облик больших городов и самых маленьких сел, вышли на бесконечные просторы всей нашей Советской Отчизны и более того - они привлекли уважительное внимание прогрессивного читателя планеты, ибо страстное поэтическое слово Насими уже давно

не ограничивается рамками национальной истории его народа: оно стало достоянием благодарной памяти всего передового человечества.

Человеческая память - многоликое зеркало истории, и народы бережно проносят это зеркало через горные перевалы столетий, чтобы вновь и вновь увидеть те образы, которые выразили его лучшие стремления, его боли и тревоги, его самые большие радости.

Максим Горький был бесконечно прав, когда говорил о том, что знание прошлого вооружает потомков, помогает извлечь из него высокие и мудрые уроки, вдохновиться ярчайшими примерами смертельной схватки добра со злом, и в этом смысле наше обращение в даль веков, сквозь пелену которых продолжает излучаться художнический подвиг поэта-гуманиста, поэта-бунтаря Насими, - естественно и закономерно: там, далеко, в XIV столетии, начинается тернистая, полная мук, лишений, страданий стезя выдающейся человеческой судьбы, стезя упорного поиска идеала, пронизанная верой в победу разума и неустанной борьбой за справедливость, за достоинство, за духовное раскрепощение личности.

Имадеддин Насими родился в предгорьях Большого Кавказского хребта, в оживленном ремесленном и культурном центре Шемахе, давшем миру до и после него много знаменитых поэтов, одаренных зодчих, талантливых умельцев, поднявших свое ремесло до уровня искусства. На его внутреннее формирование оказали огромное влияние великие предшественники, а в первую очередь могучая романтическая поэзия Низами Гянджеви, олицетворяющая собой взметнувшуюся к облакам белоглавую вершину всего восточного Ренессанса.

Насими был высокоэрудированным энциклопедистом, свободно владел несколькими языками, изучал астрономию, математику, медицину, философию, логику, знал литературу Азербайджана, Ирана, Древней Греции.

Тем не менее время, когда формировался и мужал новый поэт, было очень тяжелым временем: над огромной территорией от Прикаспия до арабского Средиземноморья до предела сгустилась зловещая туча тимуровских завоевателей. Как дамоклов меч, она висела над народами, населяющими эти территории, угрожая им все новыми пепелищами и новыми реками крови, а с особой тяжестью этот меч навис над Азербайджаном, находящимся на пересечении старинных караванных путей, соединяющих страны Азии со странами Европы, краем, справедливо названным «воротами Востока».

Угроза быть растоптанными войсками захватчиков здесь усугублялась феодальными распрями, удушающим чадом правоверного фанатизма, призывами служителей культа уповать только на милость бога.

И не случайно, что в эту пору клерикального засилья, парализующего любое проявление свободной мысли и воли, в Азербайджане зародилось политико-еретическое и социально-философское хуруфистское движение, к которому примкнул поэт, начинающий свой сознательный жизненный путь.

В Шемахе царит произвол и насилие, в Баку, куда он вскоре перебирается, докатываются ужасающие вести о зверствах, чинимых ордами Тохтамыша и тимуровскими полчищами, не ограничивающимися диким грабежом и варварским разрушением городов и весей, но и угоняющими людей в самое что ни на есть жесточайшее рабство- почти четверть миллиона трудолюбцев, взращивающих хлеб, растящих сады, ткущих шелка и ковры, выделывающих чудесные изделия из камня, шерсти, кожи, серебра, были взяты завоевателями в плен и превращены в рабов, оцениваемых дешевле, чем скот.

Здесь, в Баку, он узнает о расправе над своим любимым наставником, поэтом и философом Фазлуллахом Наими, казненным в Нахичевани по велению сына Тимура - Мираншаха. И, как сообщают некоторые древние источники, действуя по предсмертному письму-завещанию своего учителя, поэт покидает Баку. Начинается его долгая и трудная одиссея - странствия на юг, где его ждут анатолийские степи,

аравийские пески, в далекий сирийский город Алеппо, где его поджидает невероятно жестокая гибель.

Он идет по Турции, Ирану, Сирии не как гонимый судьбой скиталец, а как глашатай и провозвестник высоких гуманистических идеалов. Он проповедует свои человеколюбивые взгляды, будит чувство достоинства в единомышленниках, поднимает веру в назначение человека на земле.

Вхожу ли я в мечеть, иду ли мимо храма,
Направо я иду, налево или прямо -
Я думаю о том и убеждаюсь в том,
Что бог - любой из нас, из сыновей Адама, -

утверждал Насими, и его путешествие было дорогой пророка, дорогой, чреватой лишениями и бедами, требующей истинного мужества, стойкости, самоотверженности, и его гибель нельзя принимать всего лишь как фатальное стечение обстоятельств.

По преданию, дошедшему до наших дней, на рынке Алеппо ученик Насими читал стихи поэта. За эти «еретические» стихи юноша подвергся аресту, признал их своими и был приговорен к смерти. Он сказал неправду, и Насими, чинивший башмаки у сапожника, узнал о ней, поспешил на место казни и во всеуслышание объявил, что стихи принадлежат его перу. Поэта схватили, долго томили в темнице и в конце концов, по приказу мамлюкского султана, предали мученической казни, заживо сдирая кожу со всего его тела.

То же предание гласит, что один из палачей глумливо спросил у истекавшего кровью поэта: «Ты сравнивал себя с богом, почему же бледнеет твое лицо?» Поэт гордо ответил: «Я солнце, взошедшее на небосклоне великой любви. А солнце блекнет, идя к закату».

Нравственный и духовный подвиг Насими - это рыцарственная, дерзновенная попытка вырваться из мертвящих пут ортодоксальной религии, из оков господствующей в ту эпоху идеологии. Такая героическая попытка стоила ему жизни. Но она, как доброе семя, пустила незримые корни в сознании поколений, в умах и сердцах, продолжавших изнывать в духовных кандалах.

Конечно, Насими как сын своего века не мог найти реальную философскую почву для выработки радикального материалистического мировоззрения, для полной оценки несостоятельности религиозных мифов о сотворении мира и рода человеческого, познать законы природы, классовых отношений. Истории еще предстоял долгий путь к этой истине. Еще придут Коперник, Бруно, Ньютон, Дарвин. Однако поэт считал, что человек может возвыситься до божества, что всевышняя сила проявилась во внутренней сути и совершенной красоте человека.

Так утверждал Насими, так гласило учение хуруфизма, видевшее в чертах человеческого лица божественные высшие знаки, что может быть воспринято только как своеобразное преломление пантеистических идей.

Что же вызывало бешеную злобу ортодоксов в этом учении? Почему они не гнушались никакими средствами, чтобы подавить, изничтожить, обратить его в прах, а прах развеять по ветру? Что они считали святотатством и ересью? А то, что хуруфизм допускал мысль о воплощении божественного в человеке. Это было посягательством на «святая святых» корана, объявлявшего бога незримым, недосягаемым, вневременным и внепространственным.

При всей неизбежной ограниченности взглядов, формировавшихся в глухих недрах феодального общества, хуруфиты объективно бросили вызов системе теологических представлений о вселенной, они проповедовали всеобщность движения, материальность мира, взаимосвязь всех его частей, рассматривали человека в единстве с этим миром. «Тело человека, - писали они, - состоит из четырех естеств, кои суть земля, воздух, вода и огонь».

Хуруфиты представляли из себя динамическую протестующую силу, они энергично продвигали свое учение в ближневосточные и среднеазиатские страны, всюду вербовали

сторонников и действовали с дальним прицелом- расшатать и ниспровергнуть троны феодальной знати и объявить бой господству иноземных захватчиков. Они устанавливали тайные союзы с властями стран, подвергшихся разрушительным нашествиям, опираясь на городских ремесленников и земледельцев, поощряли и поддерживали народные восстания.

Нетрудно заметить, что хуруфитская оппозиция, во главе которой стоял Насими после казни своего учителя Наими, зачастую выступала под мистической эгидой, но не это главное для нас, современных почитателей поэта, не забывающих о поучительном замечании Фридриха Энгельса: «Революционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания». Именно поэтому надо подходить к оценке философии и идеалов поэта исторически, отчетливо различая с космической высоты семидесятых годов двадцатого века его противоречия и заблуждения.

До нас дошли два Дивана - стихотворных сборника Насими, «Большой», написанный на азербайджанском языке, и так называемый «Малый», на фарсидском, вобравшие в себя примерно двадцать тысяч строк его стихов, знакомясь с которыми окунаешься в настоящее колдовство слов, в буйное пиршество художественных красок.

На свете истина одна: та истина - мы сами.
Мы суть всего, что в мире есть над нами и под нами.
И чтобы истину узреть, ее не сторонитесь,
Глядите ввысь или вокруг влюбленными глазами, -

писал Насими, заслуги которого перед продвижением вперед мировой литературы трудно переоценить. Смело, мастерски развивая традиции своих лучших предшественников и припадая устами к кристально чистому источнику народного творчества, он фактически первым создал философскую и любовную лирику на родном языке, и он же, при всех мистических напластованиях и символике, дал толчок будущим решающим сдвигам в поэзии от расплывчато-отвлеченных, абстрактных образов к воплощению реального бытия, земных радостей, человеческой красоты, живого чувства любви.

В его стихах звучат откровенно протестующие, дерзкие мотивы, посягающие на краеугольные камни господствующих догм и верований, отвергающие религиозную нетерпимость.

Разве не о благородной и мудрой проницательности, неисчерпаемости гуманистических чувств, не о силе созидания говорят слова певца:

Предвечен я, и вечность - мой конец,
Я и творение мира, и творец.

Это высокое прозрение в эпоху, когда различные преграды - социальные и националистические - разобщали людей и народы, служило благородному делу их грядущего взаимопонимания и единства, и сегодня мы можем с особой признательностью подчеркнуть это качество поэзии Насими.

Именно сегодня, когда современная буржуазная литература настойчиво ниспровергает, оценивает, унижает личность, обрекает человека на одиночество и отчаяние, Насими, громким голосом певший гимн человеку, становится в ряды наших единомышленников, глубоко убежденных, что «человек не только выживет, но и победит».

Невозможно коротко охарактеризовать все достоинства Насими-художника, мастера поэтического слова, оказавшего плодотворное влияние на последующие поколения поэтов, в частности на такого корифея всей восточной лирики, как Физули; а художником, воспринимающим жизненные явления исключительно через образы и

метафоры, Насими оставался всегда, с юных лет до последнего вздоха, в каком бы яростном кипении политической борьбы он ни оказывался.

Насими создал не только первые образцы философской лирики на азербайджанском языке. Его перу принадлежат проникновенные газели, воспевающие земную красоту, высокую любовь, поныне сохранившие свой блеск, живое изящество, свежесть. Вот, например, строки из одной его газели:

Любовь моя к тебе меня сожгла, но где ты?
Коль нет тебя, то мне повсюду мгла, но где ты?
Рубины уст твоих столь сладостны на вкус...
Я сердце сжег свое, в груди зола, но где ты? –
Взгляни: шипы разлук впиваются мне в грудь,
Сейчас весна, весной ты расцвела, но где ты?

А вот строки из другой:

Коль вечности исток найду я не в тебе,
Пусть буду обречен на вечные мученья.
А стану не в тебе лечение искать,
Так пусть мне никогда не будет исцеленья...

Разве не покоряет проникновенная естественность авторского голоса, голоса любящего, страдающего, нежного?

Творчество Насими, особенно начиная с конца прошлого века, привлекало внимание многих европейских ориенталистов - Гоммера, Гибба, Бомбачи. Широко известно имя Насими в Средней Азии, в странах Ближнего и Среднего Востока. Но наиболее пристальный интерес вызывает наследие поэта, естественно, на его родине. Здесь в советское время проделана ценнейшая исследовательская работа. Часть произведений Насими была издана еще в 1926 году. И с тех пор его творчество завоевывает все более разветвленные круги почитателей. Незадолго до войны появилась первая антология азербайджанской поэзии на русском языке, а в ней переводы стихотворений Насими, талантливо, вдохновенно и очень точно осуществленные большим советским писателем Константином Симоновым. В канун 600-летнего юбилея творения Насими привлекли внимание новых переводчиков как в нашей стране, так и за рубежом. Появились переводы из Насими, выполненные признанными мастерами - Антокольским, Шервинским, Озеровым, Гребневым, Ивановым и другими. С Насими познакомятся на родном языке англичане, французы, немцы, читатели многих других сопредельных и далеких стран.

К юбилею в Баку изданы «Рубаи» (четверостишия) Насими в переводе на русский язык, множество стихов на азербайджанском. Насими издан в Москве, заговорил на языках народов братских республик.

Многотрудная и сложная, трагическая жизнь Насими вдохновила мастеров слова, музыки, кисти, резца на создание многочисленных поэм и романов, живописных полотен, скульптур, симфоний, в которых воплощен образ поэта, великого гуманиста, сумевшего сквозь мрак захватнических завоеваний и разгул мракобесия донести до нас свой голос в защиту человека, веру в его возвышение, мечту о счастье свободы.

Именно этим - подтвержденным такими непреходящими ценностями, как поистине жемчужные стихи, всей своей жизнью, поисками и, наконец, невероятно трагической смертью - Насими бесконечно дорог нам, его потомкам, принимающим творчество давнего стихотворца не как археологическую редкость, а как неотъемлемую частицу своего внутреннего обихода.

Когда-то, гонимый судьбой из края в край, из страны в страну, теряя дом, близких, друзей, Насими назвал себя «не имеющим места», теперь это место определено навечно.

Оно в сердцах миллионов, для которых его поэзия - не просто музыкально-рифмованные строки, а тяжкий путь познания правды, Правды с большой буквы.

И сейчас, когда имя Насими стало еще более знаменитым во всем читающем мире, особый смысл приобретают те самые его строки, с которых я начинал свое выступление:

Я - этот век и век грядущий, хотя, наверно, никогда
Не умещусь я в этом веке, да и в другом не умещусь.

Насими не вместился в тесные рамки времени, отпущенные ему судьбой, времени, в котором он физически жил. Он переступил границы столетий и встал в ряд величественных горных вершин мировой поэзии. И юбилей, который мы празднуем, самим размахом своим подтверждает эту несомненную истину.

Однако, как ни был уверен Насими в долготе своей славы, как смело ни мечтал он о будущем, в самом голубом сне он и представить не мог, что наступит день, и его стих будет звучать с высокой трибуны этого прекрасного зала, в столице нашего Советского государства - Москве.

Я пользуюсь случаем, дорогие товарищи, еще и еще раз сказать о той огромной радости, что это именно так, что в этой реальности, полной благородства, новой гранью украсился тот гранит, что составляет наше самое большое завоевание, - гранит единства и дружбы советских людей, движущихся к будущему по совершенно новой общественной дороге под прославленными знаменами нашей великой ленинской партии.

Эта сопричастность интересов и деяний советских людей стала неотъемлемой нормой всего нашего современного бытия, она присутствует во всех сферах человеческой деятельности на нашей Родине, и тем не менее, поскольку речь идет о литературном наследии, я вспоминаю еще один юбилей - 800-летие Низами Гянджеви, проведенное в 1941 году в осажденном Ленинграде, в дни, когда цитадель Октября была окружена фашистскими ордами, вобравшими в себя все наиболее человеконенавистническое на свете, в дни, когда героические защитники города, истощенные блокадой, истекая кровью, напрягали последние силы, чтобы сдержать варварский натиск, и все-таки нашедшие час в лютую стужу, не снимая шинелей и ватников, собраться в одном из залов Эрмитажа, отдать дань уважения азербайджанскому волшебнику поэзии.

Я вспоминаю об этом как о незабываемом свидетельстве духовного взаимослияния советских людей, когда и где бы они ни находились, о неразделимости их чувств и помыслов.

Знаменателен факт, что, по решению ЮНЕСКО, юбилей Насими достойно отмечен и в международном литературном процессе. Трудно переоценить значение такого рода событий - они способствуют делу мира и пониманию друг друга в мире, они находятся в фарватере той политики всестороннего международного сотрудничества, осуществлению которой отдают титанические усилия Центральный Комитет нашей партии, ее Политбюро, Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев.

К нам в Баку, в связи с юбилеем Насими, приезжали представительные писательские делегации союзных и автономных республик, а вместе с ними большая группа европейских, азиатских и африканских писателей, и мы были рады не только оказать им свое гостеприимство, но были рады и новой возможности наглядно показать, как преобразована наша земля в благодатных социалистических условиях, в нерушимом советском братстве: познакомить их с изумительными взлетами индустрии, сельского хозяйства, культуры, за которыми явственно проглядывается еще большее и значительное - развитие замечательных революционных традиций азербайджанского рабочего класса, невиданное духовное возвышение нашего современника, человека труда.

Мы повезли группу гостей на один из морских нефтепромыслов, в бригаду буровиков, состоящую из людей двадцати одной национальности, находящихся в постоянном единоборстве с разъяренной стихией, людей широкого кругозора, опоэтизировавших

свою нелегкую, работу и улыбаясь встречающих каждую новую утреннюю зарю, в бригаду, где стирается грань между усилиями мозга и усилиями мускулов. Гости своими глазами смогли увидеть ту новую формацию человека труда, о которой мечтали лучшие умы истории.

И от имени широких трудовых масс азербайджанской земли - всех тех, кто добывает нефть в штормовом море и воздвигает новые заводские и фабричные корпуса, тех, кто собирает урожаи белого золота, винограда, чая, учит детей и пишет книги, - от имени их всех я обращаюсь к вам, дорогие друзья москвичи: сердечное спасибо вам за радушие и внимание, за ваше участие в этом великолепном литературном празднестве, обращаюсь к вам со словами братской любви - всего вам доброго, всего самого-самого хорошего, новых успехов во имя нашего общего святого дела, во имя встающего из-за горизонта солнца коммунизма!

Большой театр Союза ССР,
18 сентября 1973 года

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ЛИРИКУ!

С далекого юга, с побережья порою нежного, порою бурно бушующего Каспийского моря, я привез сюда, в этот белоколонный зал, слова любви и преклонения моего народа перед удивительным дарованием величайшего русского советского поэта Сергея Есенина.

Сегодня, с высоты нашего времени всматриваясь в дороги неповторимой есенинской поэзии и отчетливо видя, что эти дороги пролегали сквозь стремительные горные потоки окружающей действительности, через утесы и скалы сомнений и противоречий, через необозримые поля внутренней художнической эволюции поэта, мы с каждым прожитым днем все глубже осознаем, что направление этих дорог определялось одним компасом - стремлением понять величие революции, взорвавшей старый мир насилия и несправедливости, осознать ленинские идеи о будущем планеты, проникнуть в сокровенные тайники такого огромного и многозначного понятия, как душа русского человека.

Именно потому, и еще раз потому, что Есенин - ослепительное ярко выраженное национальное явление, что он был и остается певцом могучей и необъятной Руси, его поэтическая мелодия стала предметом неизбывного восхищения и почитания иноязычных народов, иногда географически разделенных на тысячи и тысячи километров, но стоящих рядом в этом восхищении и почитании.

Так эта поэзия березовых рощ, заливных лугов и колыхающихся хлебных нив из категории национальной поднялась на космические вершины интернационального, так она и будет жить, взволнованно и торжественно отмечая не только восьмидесятилетие ее творца, но и его пятисотлетие.

Я никакой не литературовед, а тем более - не исследователь Есенина, я всего лишь бесконечно благодарный почитатель вдохновенного поэтического слова, и я кровно заинтересован, чтобы голубоглазая и златокудрая есенинская поэзия прочно вошла в духовный обиход моих детей, внуков и правнуков.

Волшебником стиха - таким Есенин остается для нас и таким он властно войдет в будущее, и волшебство это подчас попросту необъяснимо: шуметь «левкои с резедой» не могут, это не дубы и не тополя, и, как тут ни бейся, на этот вопрос можно только ответить, что «у Есенина могут».

Он поистине могуществен, одному ему ведомыми путями нанизывая обычные слова, как жемчужины на нитку, и превращая каждое стихотворение в драгоценное ожерелье, а тем самым проникая в сердце, заставляя его радоваться, печалиться, изумляться, растроганно трепетать. Мне рассказывали такой случай: в сражении с наступающими гитлеровцами под Москвой, ночью, перед неравным боем с тяжелыми танками, бойцы

роты, понимая, что их ждет на заре, с влажными глазами, передавая из рук в руки, читали однотомник Есенина - лирический стих царствовал в блиндажах на пороге смерти, ибо он был прекрасен, а прекрасное - будь оно буйно веселым или до боли печальным - есть жизнь, неподвластная смерти.

Сергей Есенин прожил короткую, но трудную жизнь, а в этой жизни огромную роль сыграла столица моей родной земли - пролетарский Баку, где он гостил у своего друга, редактора газеты «Бакинский рабочий» П. Чагина, и эти посещения настолько сблизили поэта с Апшероном и увенчались такими творениями, что вошли в историю как «бакинский период» его творчества.

В те незабываемые двадцатые годы в Баку находился еще один друг Есенина, и этим другом был не кто иной, как огненный трибун нашей партии - Сергей Миронович Киров, ныне увековеченный в граните и бронзе на самой высокой точке города и протянутой рукой приветствующий встающее из-за моря солнце.

Встав во главе азербайджанской партийной организации как посланец Ленина, Киров поднял народ на неслыханные и невиданные созидательные свершения - здесь развернулась битва за черную кровь земли, которую нужно было влить в артерии молодой Страны Советов, здесь шли глубинные процессы нового общественного развития, продолжало выковываться и закаляться интернациональное рабочее братство, здесь впервые отвоевывалась у моря нефть - тогда единственно возможным способом - вручную; камнями и песком была засыпана часть бакинской бухты, а на искусственно образованной земле заложен промысел, давший мощные фонтаны огненной жидкости и названный «Бухтой Ильича».

Киров был романтик по душевному складу, он любил слово вообще и звонкое слово Есенина в частности, и он способствовал его приездам в Баку, безошибочно предвидя, что такая яркая реалия сотворяемого нового мира не может не влиять на художественное прозрение поэта, на дальнейшее благотворное формирование его мировоззрения, и, наверное, как раз в Баку зародилась дума, а позднее вылилась в стихотворные строки мечта увидеть «новую стальную Русь».

Регламент не позволяет мне рассказать вам десятки трогательных фактов, повествующих о том, как Киров оберегал для русской, а следовательно, для всех новых социалистических культур редкостное дарование Есенина, о новых фактах преданности друг другу в товариществе с Чагиным, о встречах с бакинскими рабочими, азербайджанскими читателями и писателями, скажу лишь о том, что, когда несколько лет назад в селении Мардакяны, где начал создаваться знаменитый цикл «Персидские мотивы», мы установили мемориальный памятник, это место стало нашей общенародной литературной святыней - каждое утро у барельефа Есенина алеют и белеют свежие цветы, а рязанская береза, привезенная из Константинова, поднимается все выше к бакинскому небу, став сестрою соседствующей азербайджанской чинары.

И не случайно, что в Дни советской литературы, только что с огромным, ошеломляющим успехом проведенные в Азербайджане, в которых участвовал цвет всех литератур социалистического реализма, выразивших свое художественное и партийное единство в канун XXV съезда великой ленинской партии, в эти дни в Баку, а точнее, 3 октября, в день рождения Сергея Есенина, был открыт Дом-музей его имени, и все участники литературных торжеств - известные современные мастера слова - вместе с многочисленными читателями пришли сюда поклониться вечно живой памяти великого поэта.

Вчера, вылетая в Москву, я вновь посетил мемориал и Дом-музей Сергея Александровича и в ранний утренний час застал в музее группу школьников, возглавляемую учительницей литературы. Перемежая исторический факт с легендой, реальность с фантазией, поминутно добавляя «может быть», она говорила своим воспитанникам: вот, смотрите, слева знакомое вам селение Шаган, может быть, Есенин стоял на этой веранде и, глядя на это селение в такой же вот утренний час, преобразовал его название в женское имя и написал «Шаганэ ты моя, Шаганэ», а может быть, здесь, у

грядок с розами, лежа на траве и в этом ракурсе наблюдая, как порывы ветра проносятся над кустами, он написал:

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая,
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хайям,
Тихо розы бегут по полям.

Я вновь окунулся в нежный трепетный мир истинной поэзии, и вновь наглядно и ощутимо передо мною встал один из конкретных примеров ее эстафетной передачи из поколения в поколение.

Слава вечности поэзии, слава ее выдающемуся творцу - Сергею Есенину.

Колонный зал Дома Союзов,
22 октября 1975 года

СУТЬ ВРЕМЕНИ

Стоят чудесные майские дни - дни цветения и радости, и так естественно, что именно сейчас наша страна и все передовое человечество празднуют семидесятилетие писателя, который всегда был другом жизни, другом людей, защитником и певцом добра и человечности...

Творчество Шолохова несравненно и феноменально. Это предмет долговременного внимания и любви сотен миллионов читателей. Феноменально оно именно потому, что, будучи вершинным явлением словесного искусства, никогда не было только явлением искусства. Оно шло из глубин самой жизни и уходило обратно в жизнь, формируя ее и перестраивая сознание тех, кто с ним соприкоснулся. Вот почему можно с очень разных точек зрения оценивать этот феномен (он каждому близок по-своему), но уже теперь, когда писатель Шолохов живет и здравствует среди нас, несомненно, что представление о передовой художественной культуре человечества без него просто не существует.

Как всякий художник такого размаха и значения, Шолохов уникален, и быть его современником, читателем, поклонником - это само по себе большое счастье.

Такое чувство вызывал, очевидно, Лев Толстой. Ибо Михаил Шолохов взял на себя и решил задачу, которую выполнить по плечу только гиганту. Он показал, как в очистительном шквале величайшей революции мучительно, противоречиво и упорно человек ищет и находит совершенно новую жизненную дорогу, невиданную в истории.

Это генеральная тема Шолохова; воплощал он ее на различном жизненном материале, и герои его, идущие путем борьбы с отжившим миром или с самим собой, известны всем. Григория Мелехова и Аксинью, Давыдова, Нагульнова и Андрея Соколова достаточно назвать по именам, чтобы за этими именами встали близко знакомые люди, которых ты знаешь изнутри, которых ты видишь, с которыми ты живешь.

Так же как и у миллионов читателей Михаила Шолохова, у меня на полке стоят его книги «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Донские рассказы», «Судьба человека», «Они сражались за Родину». Эти книги прочтены не раз и не два, а все-таки время от времени берешь в руки тот или иной том и, перелистывая страницы, вдруг чувствуешь, что тебя уносит в огромное море, знакомое, как родной Каспий, но каждый раз новое и неожиданное...

Нет, Шолохова не «перечитываешь» и уж во всяком случае не «перелистываешь». С каждым новым прочтением открываются незнакомые доселе, сверкающие грани жизни, эпохи, художественного мышления, художественного видения. Мир Шолохова - не застывшее изваяние, а бурная, вечно живая стихия человеческих борений, дум и страстей.

Закономерно возникает вопрос: в чем тайна этого волшебства? И хотя в поисках ответа написаны тома исследований, но их объединяет одна мысль: произведения Шолохова достигают не только предельной степени образного воплощения конкретно-исторической ситуации и обстановки - они заключают в себе дух эпохи, дух времени. Обращаясь к крупнейшим событиям века или проникая в неведомые тайники души своих героев, рассказывая о противоборстве целых фронтов, армий или о переживаниях одного рядового солдата, заглядывая во дворцы или в подслеповатое оконце хаты на заброшенном хуторе, Шолохов остается верен себе и в точности,

и в выборе красок, и в глубине проникновения в коренные закономерности эпохи.

Таков масштаб таланта, которым отмечена каждая страница шолоховской прозы. Ей, этой прозе, новая мировая литература обязана и тем безоговорочным доказательством, что эпический роман, да и сама эпическая система мышления, исследующая живую реальность бытия, мир целостный и человека социального, - живет, здравствует и развивается.

Таково мастерство Шолохова. И с этой точки зрения можно быть уверенным, что одной лишь «Судьбы человека» было бы достаточно, чтобы прославить имя автора. Если же взять творчество его в целом, то созданное им иначе не назовешь, как высоким гуманистическим подвигом. Его герои, во всей их завораживающей конкретности и характерности облика, поступков, языка, быта, наделены неизмеримой обобщающей значимостью, эпичностью, эпохальностью. Этот синтез неразложим - он не поддается элементарному объяснению.

Шолохов любим везде, всюду и всеми. И чествование его в Азербайджане проходит с той долей теплоты и сердечности, которая возникает при отношении глубоко личном. Юбилей русского писателя отмечается у нас в больших городах и в далеких селениях, в библиотеках, вузах и школах, в воинских частях, на заводах и на стройках, в Академии наук, Союзе писателей, в заводских и колхозных клубах. Печать, радио, телевидение полны в эти дни именем Шолохова, и хроника юбилея общеизвестна. Но и средства массовой информации не в силах охватить ни.массовости всенародной любви к великому писателю, ни той особой интимности и искренности, с которыми проходит этот юбилей, ставший большим общественным событием.

«Бакинский рабочий»,
21 мая 1975 года

С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ

Ни разу не довелось мне увидеть Сулеймана Сани, но он вошел в мое сердце еще тогда, когда буквально по складам, трепетно была прочитана его знаменитая повесть «Чернушка», - вошел так, как он входил в десятки и сотни других детских сердец, чтобы поселиться в них навсегда.

Сейчас в Азербайджане - на морской буровой, в научной лаборатории, на улице или за чашкой чая, на шумной стройке, большом собрании или в вагоне метро - всюду можно услышать слово «муаллим», а означает оно в переводе на русский очень высокое понятие - УЧИТЕЛЬ.

От имени Сулеймана Сани оно неотделимо во всех прямых и переносных смыслах. Всей своей работой, и прежде всего художественным подвижничеством, выраженным в создании целого ряда произведений больших и малых форм, в педагогике, которой он отдавал все силы своей души до последнего вздоха, в одержимости, с какою он воздвигал здание азербайджанского советского театра, - он служил одной цели: стремился показать своему народу открывающуюся перед ним величественную панораму новой жизни.

Судьба Сулеймана Сани сложилась так, что еще отроком, только постигшим грамоту, он попал в Горийскую учительскую семинарию - учебное заведение, прославленное

своей прогрессивностью, воспитанием семинаристов в приобщении к передовой русской культуре, в тяготении к высоким идеалам прекрасного, учебное заведение, давшее Азербайджану выдающихся деятелей, которые подняли культуру народа на несравненно более высокую ступень развития.

Уже в семинарии Сулейман Сани начал обнаруживать незаурядные литературные способности, а после окончания ее навсегда избрал для себя две сферы приложения своих интеллектуальных и душевных сил - перед классной доской днем и за письменным столом ночью.

Память бережно хранит, казалось бы, спокойные, ничем не примечательные вехи биографии Сулеймана Сани, не отмеченной ни воинскими походами, ни дальними путешествиями, ни взлетами и падениями: детство в селе, учеба в семинарии, а затем - изо дня в день - мел и карандаш в руках. Однако за внешним спокойствием этих дней скрыты взрывные силы духа подлинного борца.

Сулейман Сани пережил три революции, каждая из которых требовала от него определения своей общественной позиции. Он высказался смело, прямо, откровенно, раз и навсегда заняв место на баррикаде с трудовыми людьми, пробивающими дорогу к светлому будущему.

Литературное наследство Сулеймана Сани не так уж велико по объему - циклы рассказов, статьи и фельетоны, несколько пьес, - но значительно по содержанию. Публицистика его остра, проблемна, предельно гуманистична, иногда кажется, что она писалась не в начале века или в двадцатые годы, а сегодня; повести и рассказы написаны под влиянием таких нетленных образцов, как проза Тургенева и Чехова, но именно под влиянием, а не в подражание, ибо они очаровывают и сегодняшнего читателя самобытностью национальных красок; его пьесы продолжают реалистические традиции основоположника новой азербайджанской литературы - блестящего драматурга Мирзы Фатали Ахундова.

Две из них - «Соколиное гнездо» и «Любовь и месть» - ставятся и сейчас. Старые пьесы эти смотрятся с неподдельным интересом, ощутимо подтверждая, что глубокое чувство и мастерское раскрытие характеров в драматических столкновениях, определенность авторских симпатий и антипатий остаются наиболее надежным средством покорения зрительного зала.

Недавно в республике издан однотомник избранных произведений Сулеймана Сани. Перелистываешь страницы, вчитываешься в них, начинаешь радоваться или негодовать, а затем отчетливо сознаешь, что на твоем столе лежит не любопытная музейная реликвия, а живое произведение, передающее тебе сердцебиение автора.

Не только как писатель, но и как учитель, ставивший целью гармоническое развитие личности, тонко улавливавший ее призвание, работавший над ней упорно и настойчиво, как ваятель резцом, Сулейман Сани растворился в разных людях и живет в разных проявлениях их последующей общественной работы. В том числе он живет и в боевом подвиге «Михайло» - Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, прославленного разведчика в итало-югославских соединениях Сопротивления, получившего первые познания о мире из уст Сулеймана Сани.

Прожить так, чтобы продолжать жить в других, - счастье, и это счастье познал Сулейман Сани.

Вот почему, отмечая 100-летие со дня рождения Сулеймана Сани, не из вежливости, а по праву его называют в Азербайджане не иначе как «муаллим» - учитель.

«Литературная газета»,
28 января 1976 года

СЛОВО О САМЕДЕ ВУРГУНЕ

В волшебной стране, издревле именуемой Большой Поэзией, Самед Вургун находится в ряду вершин, имеющих относительно разную высоту от уровня моря - одна выше, другая ниже, третья уходящая головой за облака, но, сомкнутые вместе, они образуют горный кряж неописуемой красоты и мощи.

Самед Вургун пришел в эту страну большеглазым, худощавым юношей, пытливо всматривающимся в очертания нового мира, рожденного в шквале величайшей социалистической революции: обездоленный, униженный, проливший много крови и много слез, человек труда начал раскованно и вдохновенно строить этот новый мир, и его надежда стала надеждою юноши, посланного учительствовать в сельскую школу, а вместе с тем уже твердо решившего стать певцом окружающей его яви.

Он был родом из Казаха, находящегося на западе азербайджанской земли, в краю, где родились такие непревзойденные мастера стихотворной лирики, как Вагиф и Видади, где чуть ли не ежедневно выходили на словесные состязания народные сказители, где стихи писал каждый третий сельчанин или горожанин, и юноша не ждал похлопывания по плечу, он брал на свои плечи тяжелую ношу.

Она действительно была тяжела, требовала неимоверного душевного напряжения, но с первых же написанных строк она стала не увлечением, а «одной-единственной, но пламенной страстью», и ей Самед Вургун остался рыцарственно верен до последнего вздоха.

Посвящение в поэтические рыцари не сопряжено с ритуальными торжествами, здесь не произносятся слова присяги и не звучат фанфары - в этот раз оно происходило в ночной тишине глинобитного сельского дома, в мерцающем свете керосиновой лампы, перед обыкновенными ученическими тетрадками.

Первые же знакомства с ними - теперь уже заполненными перечеркнутыми и вновь переписанными строфами- показали, что в многоголосье прославленной азербайджанской поэзии влился новый голос, поразительного мелодического звучания, с неповторимыми переливами и интонациями, голос, пусть еще не окрепший, но уже заставляющий внимательно прислушиваться к нему и думать о том, где его можно услышать снова.

Может быть, это было всего лишь любопытством, а не глубоким интересом, может быть, это была дань дерзновению молодости, но так или иначе начало поэтической судьбы Самеда Вургуна было счастливым, и изменчивое это счастье не изменяло ему и потом: как всякий крупный художник, он преодолевал муки поиска, кристаллизировал истину в изнурительном борении противоречий и сомнений, но ученические тетради (им он тоже никогда не изменял), становясь публикацией в периодике или отдельной книгой, выходили к народу как этапы нового продвижения вперед их автора, с каждым таким этапом становящегося все более признанным, имеющим право воскликнуть:

Мои стихи земля усыновила,
Встряхнула горы песенная сила.
Нежданный листопад остановила
И окрылила тысячи сердец.
Мечта моя взлетит как соколица,
Молниеносно с бурей породнится,
Вас в небо увлечет как проводница,
Но в край родной вернется наконец!

Было бы наивным полагать, что все ранние творения Самеда Вургуна равноценны, но факт нарастающего из года в год, ошеломляющего их успеха - факт неопровержимый, и объясняется он не долгой инерцией читательских симпатий и уж конечно не модой на вургуновскую лиру - мода никогда не была признаком вхождения в когорту больших поэтов.

Поэтом же Самед Вургун родился - он впоследствии рос, распрямлял плечи, становился все более утонченным в мастерстве и все более мудрым в раздумьях, - тем не

менее чудом обретения людьми нового истинного поэта был предрассветный час его рождения в марте 1906 года в убогом селе Юхары-Салахлы: как ни старо, при желании научиться писать стихи можно, но поэтом надо родиться.

Формирование и возмужание этого оригинального природного дара происходило не в литературной пустыне: маленькая азербайджанская земля находилась на пересечении больших дорог, соединявших Европу с Азией, она растаптывалась римскими легионами и полчищами азиатских завоевателей, на долю народа этой земли выпали неимоверные страдания, ему, выражаясь жаргонно, крупно не везло во всем, но удивительно везло на поэзию - из столетия в столетие он дарил человечеству Низами, Физули, Вагифа, Мирзу Фатали Ахундова, Сабира, и Самеду Вургуну, вместе с его современниками и единомышленниками Джафаром Джабарлы, Сулейманом Рустамом, принадлежала честь стать продолжателями благородных гуманистических традиций гениальных предков, впервые приумножая это наследство в совершенно новых социальных условиях.

Стоит перечитать ранние стихи Самеда Вургуна, чтобы убедиться, что он с молодости четко определил свое идейное и художественное кредо - оберегать лучшие традиции предшественников и развивать их по велению времени в той степени и форме, которые диктуются советским содержанием.

Стихи его не наносились на марлю - он искал и умел находить прочный материал для словесного рисунка, этим материалом попеременно бывали брезент рабочего комбинезона и войлок бурки пастуха, шинельное сукно и тонкий шелк женских головных платков.

Действуя могучим пером будто кистью, в буйстве красок и звуков, он в разные периоды творчества создал множество стихов и поэмы - все они будто написаны даже не вчера, а сегодня, а одинаковая доступность их самым разным читательским уровням говорит о «третьей» простоте, возвышающейся над самым причудливым усложнением.

Эти вещи выдержаны в классических размерах и рифмах, но их делает классикой не это, а новаторство сути - автор вторгается в действительность, поднимает пафос созидательного труда вокруг в категорию прекрасного, находит новую художественную модель, совершенствует и в обобщенном виде увековечивает ее.

В этих поэмах - роденовские образы, жаркое дыхание эпохи, романтическая крылатость ее творцов.

Революционную романтику Самед Вургун понимал как прямое продолжение социалистического реализма, естественное для ритмов современности, как цветение плодового сада в весеннюю пору. А весна в душе поэта пользовалась безграничным господством:

Не остудил я сердце огневое,
Слова, как войско, вновь готовы к бою,
Взаимная любовь сильнее вдвое,
И дорог многим людям я в стране.
Любовь моя велит трудиться мне, -

писал он в «Весенней симфонии», и в этих словах нет преувеличений, сопутствующих пылкому воображению: всю свою короткую, но огромную жизнь поэт трудился, не давая пощады ни душевным, ни физическим силам, каждую новую акцию восхищения его талантом он принимал как призыв к еще большей ответственности - ответственности художника, коммуниста, гражданина.

И, следуя его же принципам, можно с такой же ответственностью утверждать, что он был велик во всех этих высоких понятиях.

Творчество Вургуна в последние годы жизни поднялось на новые эпические высоты. Он создал поэму «Читая Ленина» - проникновенные раздумья художника-мыслителя о трудных путях человечества, о неудержимой поступи ленинских идей по всем континентам земного шара.

Все ближе Коммунизм. Он перед нами, -
Не за горами где-то вдалеке...
Идет борьба за правду во Вьетнаме,
На азиатском всем материке!

И если сегодня слова о войне во Вьетнаме мы произносим в прошедшем времени, то это говорит не об устарелости поэтической информации, а об ее историческом подтверждении. С этим произведением перекликается и «Знаменосец века», как образно называет С. Вургун Коммунистическую партию. В поэме нашли художественное отражение диалектика самой истории, картины классовой борьбы - от первых стихийных бунтов до штурма Зимнего дворца. Особое место в поэме занимает образ Владимира Ильича Ленина, его соратников, эпизоды освободительного движения в России. Вдохновенно звучат последние аккорды этого гимна, посвященного партии:

Идет она в твердом и слитном строю,
Грядущему страсть отдавая свою.
И тысячи ленинских строк - ее разум,
И тысячи глаз открываются разом...

Собранные воедино творения Самеда Вургуна по существу представляют целую поэтическую школу, к которой ныне относится большая группа известных азербайджанских поэтов последующих поколений, плодотворно участвующих в поступательном движении всесоюзного литературного процесса, - часть из них здесь, в этом зале.

Самед Вургун не мог купаться в лучах собственной славы, одно свершение звало его к следующему, он жил на больших скоростях, опережая факты и события, чувствуя себя полководцем и солдатом одновременно.

У него было отличное зрение: и в прямом и в переносном смысле - уникальное внутреннее зрение, мгновенно оценивающее любое событие в его далекой перспективе, причем в самой богатой фантазии не покидающее пределы трех земных измерений.

Продолжая горячо любить жанр лирического стихотворения, Самед Вургун создал четыре драмы в стихах, одарив театральное искусство изумительными литературными основами, по которым ставились и ставятся спектакли непреходящего общественного и художественного звучания. Лучшая из них - «Вагиф» - скоро пройдет в Баку, в Академическом театре драмы в тысячный, раз, начала сценическую жизнь почти сорок лет назад и активно продолжает ее, став «Чайкой» этого театра.

Драматургия Самеда Вургуна привлекает жгучий интерес не только потому, что она полна страстей, острых столкновений, оригинальных характеров, но еще и потому, что философской направленностью своей она всегда современна, хотя, казалось бы, берет в орбиту внимания далекую или близкую историю.

Достаточно сказать, что в той же пьесе о Вагифе он многогранно исследует не только интеллект и душу любимого певца, но и раскрывает его как государственного деятеля, сплачивающего народы Закавказья в сложном перекрещении их трагических судеб, мечтающего видеть их всех вместе на одном корабле, берущем курс к спасительному северному маяку - к могущественной прогрессивной России.

Чувство современности - изначальное качество души Самеда Вургуна, качество, позволившее раздвинуть рамки значения его творчества не только по тематическому и географическому признаку - да, на его письменном столе незримо присутствовал Азербайджан, все Советское Отечество, вся беспокойная наша планета, но одной географии мало, - видимо, раздвижение этих рамок можно объяснить только глубиной мысли и пронзительностью чувств.

Перу поэта принадлежит стихотворение, которое сейчас в республике знает и каждый школьник, и каждый старец, относящийся к долгожителям, далеко перешагнувшим столетний рубеж, - это знаменитое стихотворение «Азербайджан», произведение такого

эмоционального накала, какой возможен лишь у художника, не мыслящего своего существования вне отчего края, и бесспорно, что древо поэзии Самеда Вургуна уходит корнями в глубочайшие огненные пласты его родины. Но очевидно и то, что, питаясь национальными соками, это древо становится явлением интернациональным, в специфическом преломлении выражающем духовную сущность всего советского народа, а потому и явлением общечеловеческим, причем не в какой-то абстрактной гуманности, а носителем идейной ракеты, запущенной с совершенно определенного классового полигона:

Нет в мире ничего сильней
Семьи трудящихся людей,
Одной мечтой вооружась,
Как будто бы одним мечом,
Усилья слив в один удар,
Гнев разгорится как пожар...

Это сказано об освободительной борьбе «черного континента» - Африки. Тоже не сегодня, давно, почти тридцать лет назад. Такое мог сказать только убежденный провидец, коммунист, глашатай свободы, сын могучей ленинской партии.

Этого сына касалось все: выход нефтедобытчиков за морской горизонт и воздвижение их золотыми руками свайного города посреди бушующего Каспия, успехи хлопкового колхоза в Муганской степи и направление поисков ученых в Академии наук республики, вице-президентом которой он был, первые пробы пера молодого коллеги и празднование восьмисотлетия седовласого Низами, события в Индии, Франции и на Ближнем Востоке, проблемы отечественной поэзии (о них он говорил, выступая с докладом на Втором съезде советских писателей), конгрессы в защиту мира (а он был выдающимся борцом за мир) и увековечение памяти погибших в войне с фашизмом...

Поэт определял свои художественные и гражданские позиции, исходя из лучших образцов нового искусства, прежде всего Горького и Маяковского, он воспитывался под влиянием братских культур, прежде всего культуры старшего брата, русского народа, - она животворно отразилась в его собственных стихах, в переводах, из которых вспомним хотя бы такое явление, требовавшее исключительных усилий, как блестящий перевод на азербайджанский язык «Евгения Онегина».

Интернационализмом проникнуто все творчество, вся неустанная общественная деятельность Самеда Вургуна, все его бытие и сознание.

Он дружил с Тихоновым, Луговским, Антокольским, Симоновым, с Леонидзе, Чаренцем и Турсун-заде, с Судрабкалном, Корнейчуком и Гафуром Гулямом, с Назымом Хикметом и Пабло Нерудой, но, пожалуй, наиболее трогательной в мужественности и нежности была его дружба с Александром Фадеевым - дружба в дни войны и в дни мира, дружба в радости и в горе, дружба, о которой складывались целые легенды.

Очень рано, буквально сразу после пятидесятилетнего юбилея, ушел из жизни Самед Вургун, проживший короткую, но, повторяю, огромную оптимистическую жизнь, целиком отданную времени, о котором он сказал так неожиданно, как никто другой и не сказал бы:

Пока любить, и петь я мучим жаждой,
Пока живой, теплом земли дышу,
Я жизнь продлю в ее мгновенье каждом,
Мне некуда спешить,
Я не спешу.

Он оставил нам и будущим поколениям громадное состояние - свои Стихи, свой художнический и гражданский подвиг.

И свой незабываемый, не знающий старения образ. Этот образ неразрывными нитями связан с нашей сегодняшней действительностью, с великими свершениями советского народа и Коммунистической партии. Огромный талант обеспечил жизненную силу вургуновским творениям, по праву вошедшим в золотой фонд отечественной художественной культуры, о которой прекрасно сказал Леонид Ильич Брежнев, что наша социалистическая культура «представляет собой... органический сплав создаваемых всеми народами духовных ценностей», а в числе ее творцов, которых все знают и любят как своих родных писателей, назвал и имя Самеда Вургуна.

Этот образ в нынешние ноябрьские дни вновь обошел азербайджанскую землю, побывал на заводах, нефтепромыслах и фабриках, на хлопковых полях, виноградных массивах и новостройках, убедился в невиданном и неслыханном взлете экономики, в рекордных урожаях первого года десятой пятилетки, в успехе усилий день ото дня нравственно возвышающихся трудовых людей, вдохновенно осуществляющих предначертания XXV съезда советских коммунистов, и, как «живой с живыми говоря», сегодня вошел в этот величественный зал, чтобы сердечно поблагодарить за воздаваемые ему почести и низко поклониться вам, дорогие товарищи москвичи, а нашими устами еще раз подтвердить свои проникновенные слова о гранитной прочности братства советских народов и о том, что дорога из «ворот Востока» прямо ведет в ворота Кремля.

Празднуя сейчас семьдесят лет, истекшие с того благословенного часа, когда в маленьком селении Юхары-Салахлы появился на свет новый истинный поэт, мы празднуем вечную юность великой поэзии, повторяя самого юбиляра:

Да, голова твоя седа,
Поэт. Но это не беда.
Ни женщина, что ты любил,
Ни родина, чьим сыном был,
Те двое, для кого горел ты,
Пусть голова твоя седа,
Тебе не скажут никогда:
«Поэт, как рано постарел ты»!

Нет, не скажет этого Родина и тогда, когда Самеду Вургуну исполнится не семь десятилетий, а столько же столетий, - в волшебной стране, издревле именуемой Большой Поэзией, Самед Вургун стал в ряд вершин, образующих горный кряж невиданной красоты и мощи.

Подножие этой вершины - Азербайджан, просторные луга ее склонов - Страна Советов, вершина - Передовое Человечество, а над всем этим кряжем - бездонный купол чистого мирного неба, розовеющего в свете встающей зари, зари нашей мечты, зари Коммунизма!

Большой театр Союза ССР,
29 ноября 1976 года

БРИГАНТИНА КАРА КАРАЕВА

Помнится, в конце пятидесятых годов, в зимнюю стужу, преодолевая яростные порывы надвигающегося урагана, мы вечером шли с Романом Карменом по эстакаде свайного нефтепромысла в открытом море, направляясь к зданию клуба в поселке нефтедобытчиков.

В те дни по нашему совместному сценарию снимался фильм «Покорители моря», и музыку к нему писал Кара Караев. Несколько окон на втором этаже клуба излучали теплый свет из его рабочей комнаты.

- Дьявольщина, - туже затягивая шарф на шее, вдруг задумчиво произнес Кармен. - Казалось бы, все уж повидал на свете, встречался с удивительными людьми века, стал понимать кое-что, а вот одного никак понять не могу... Вон сидит в комнате человек за роялем, дотрагивается до клавиш, потом делает какие-то загогулины на листе бумаги, а потом это становится пленительной музыкой.

Я тогда согласился с этой полушуткой-полуправдой, а сейчас вспоминаю об этом, потому что писать о композиторе, оставаясь всего лишь одним из многих тысяч его слушателей, не имеющих никакого профессионального отношения к музыке, - по меньшей мере рискованно. И тем не менее я это делаю: оставаясь бессильным исследовать особенности творчества Кара Караева, я тем не менее не могу не поделиться своими наблюдениями - на протяжении нескольких десятилетий мне довелось быть очевидцем его духовного и музыкального развития, складывания незаурядного мира художника, из которого в конце концов эти особенности и образуются.

В Баку, в центре города, как бы продолжая амфитеатр оригинального в своих пропорциях и изяществе здания филармонии, по пологому спуску к берегу моря протянулась зеленая парковая лента, названная Садом Революции.

В середине двадцатых годов парк был местом, излюбленным воспитателями детских садов, куда они выводили порезвиться своих питомцев. И вот там, в этом парке, мне впервые довелось увидеть будущего выдающегося композитора - кудрявого крепыша с отблесками огня в огромных глазах, неистово нагромождающего одну фантастическую идею на другую: к ужасу воспитательниц, подчиняясь этому неистовству, мы превращались в племя индейцев, охотящихся за скальпами своих наиболее застенчивых сверстников, отнесенных нами к презренным бледнолицым врагам; с гиком и криком взбирались на верхушки деревьев, изображая из себя властителей джунглей; ползали по мокрой земле, превращая в тряпье без того убогую одежонку и в тот миг считая себя грозным казачьим эскадроном, по-пластунски преодолевающим огневой фронтовой участок.

Мы, изнемогающие от этих перегрузок, буквально валились с ног, но Кара был неутомим: обыкновенная парковая скамейка становилась бригантиной, в парке вокруг возникал жестокий шторм, скамья переворачивалась, что означало кораблекрушение на подводных рифах.

Наш шум и гвалт часто прерывался звуками оркестровой музыки, доносящейся с дневных репетиций в зале или в летней раковине филармонии, и я бы погрешил перед истиной, утверждая, что Кара сразу же покидал нас и, отыскав укромный уголок, в уединении жадно вслушивался в эти звуки.

Правда, значительно позже, уже подростком я нередко замечал буйную шевелюру Кара на концертах в той же филармонии, носившей тогда название ОСГД, что означало Общество Смычки Города и Деревни, и стараниями Узеира Гаджибекова и его ближайших соратников превращенной в популярнейший музыкальный центр: сюда приезжали такие крупные дирижеры, как москвич Гаук и французы Ренэ Батон и Роже Дезормьер, немец Отто Клемперер и американец Владимир Савич, и приезжали они не ради замечательного помещения и слаженного оркестра, но и благодаря чуткой аудитории - посещение симфонических концертов в те годы прочно входило в духовный обиход бакинцев, особенно интеллигенции и молодежи, и, возможно, Кара посещал эти концерты, подчиняясь общему интересу, порой доходящему до ажиотажа. Во всяком случае, его приверженность музыке заметить еще было трудно.

Не замечал я повышенного внимания к ней и в те минуты, когда случайно встречал его на улице: зажав под мышкой черный деревянный ящик (известный в городе профессор Бретаницкий оптимистически пробовал сотворить из меня еще одного скрипача, не ведая, что ящик со скрипкой я порою забывал даже забрать из раздевалки домой после увлеченных спортивных тренировок).

О том, что Кара вышел на сложный серпантин, ведущий к вершинам композиторского искусства, стало известно лишь тогда, когда, неудачно испробовав силы в качестве

пианиста, он по совету все того же Узеира Гаджибекова, обессмертившего себя не только шедеврами личного творчества, но и неустанным воспитанием истинных талантов, перешел на отделение композиции консерватории, а вскоре уехал в Москву и стал учеником Шостаковича.

И тем не менее, раскручивая в обратном порядке ленту памяти, мне видятся первые кадры этой ленты - детство и юность Кара. Может быть, в буйстве предлагаемых им игр или внешней показной инфантильности в той области, которая потом стала его призванием и профессией, и начинали-то проступать характерные черты его личности - фантазия, обучиться которой нельзя ни по одному учебнику, и та внешняя замкнутость, за которой таятся неисчерпаемые запасы мужества и постоянства художественных убеждений?

Жизнь Караева в искусстве началась счастливо, с широкого признания, с постоянно нарастающими авторитетом и значимостью, и для доказательства достаточно обратиться к одним лишь этапным вехам его биографии: в двадцать восемь лет он был удостоен Государственной премии СССР, в тридцать - ему была вручена вторая, в сорок один год он стал народным артистом СССР, в том же возрасте - действительным членом Академии наук Азербайджана, в сорок девять - лауреатом Ленинской премии.

Казалось бы, очень счастливая и очень гладкая дорога, так заставляют думать эти блистательные вехи, но, если обратиться к будничной череде годов и десятилетий, можно убедиться, что Караев шел от победы к победе через страшную неудовлетворенность самим собой, через мучительный поиск, и, владей современная наука возможностью получать кардиограммы душевного состояния, пленка оказалась бы испещренной сплошными восходящими и нисходящими линиями, один беглый взгляд на которые зримо дал бы понять, ценою каких невероятных усилий к художнику являлось новое озарение, позволявшее ему сделать еще один шаг вперед.

Озаренность - очевидно, наиболее точное слово для выражения всей интеллектуальной и психической структуры внутреннего мира Караева, и вырабатывалась она всей практикой его художественного опыта, ныне прославленного и на его родине, в Азербайджане, и во всех уголках нашей громадной страны, и далеко за ее пределами.

Было бы наивным полагать, что такое происходит как ослепительная вспышка магния, а применительно к Караеву в какой-то мгновенной метаморфозе видения, когда он бросается к инструменту и с лихорадочной поспешностью заполняет нотный лист. Нет, это не вспышка, в основе такой структуры лежит целая система, а в фундаменте этой системы - каждодневное, не знающее устали, лишенное броской эффектности труженичество.

Мне довелось быть на одном из самых больших праздников Караева - на премьере его знаменитого балета «Тропою грома» в Большом театре Союза ССР в конце пятидесятых годов.

Премьера в Большом театре - это событие во всей современной культуре, тем более это событие для его «виновника», и в тот июньский вечер под золотыми сводами зала, на его сцене и за его кулисами происходило все то, что происходит на премьерах, - волнение, восторги, цветы, поздравления.

Автор балета был возбужден, охотно принимал объятия и поцелуи, улыбчиво встречал каждое приветствие, однако был ли он счастлив в эти минуты? Вряд ли.

Через час, в номере гостиницы, он обеспокоенно расспрашивал об отдельных моментах спектакля, о реакции соседей по креслам в партере, о впечатлениях, высказываемых в фойе и у гардероба.

Я вначале расценил это беспокойство извечным чувством недовольства большого художника самим собой, потом подумал, что автор несколько озадачен определенным разрывом между уровнем музыкальной ткани произведения и хореографией (кстати, по убеждению не одного и не двух специалистов, хореографические решения двух балетов Кара Караева еще несколько отстают от мощи их музыкальной партитуры), а потом интуитивно, но безошибочно догадался, что Караев уже давно, задолго до премьеры, познал и пережил свое счастье, связанное с этим творением его духа: оно произошло в

работе, в те часы, когда он искал и нашел искомое, последующее уже было, если можно так выразиться, отзвуками этого счастья, пусть громкого, пусть многолюдного, но уже однажды пережитого, то есть фактом уже вторичным.

Смотря спектакль, Караев находился уже в пути - в новом поиске.

Вот почему, когда он тяжело болел вскоре после описываемой премьеры, просиживая вечера возле его постели, я услышал фразу, в любом другом случае могущую быть воспринятой как позерская, но в его устах прозвучавшую как самое искреннее признание:

- Вон в углу стоит рояль, иногда он кажется отвратительным до невозможности, но короткие счастливые часы я испытал, только сидя за ним.

Очевидно, это отлично прочувствовал другой азербайджанский мастер, живописец Таир Салахов: стремясь максимально выразить мир Караева, он в скупом бело-черно-сером колористическом решении написал портрет Караева именно так - в задумчивости сидящим на табурете, на фоне рояля, от края до края пересекающего всю картину.

Он задумчиво смотрит вдаль, в его взгляде живописец уловил то понимание Караевым места художника в быстротекущем времени, которое стало его не знающим колебаний убеждением - быть на шаг впереди, а не позади, быть ведущим, а не ведомым в бесконечном многообразии окружающей действительности.

Безусловность исключает многословие, и Караев без излишних сентиментальностей, по-мужски глубоко и прочно любит породившую его землю, ее изумительный древний мелос, и тем не менее еще одним регистратором этого несомненного факта он не стал: утоляя жажду из этого кристального родника, он не остался сидеть возле него.

Музыка Караева - сама современность во всех ее откровениях и трудностях, попытка с новым технологическим оснащением заглянуть в будущее.

Композитор много учился, да и сейчас, имея три поколения учеников, продолжает учиться - он вобрал в себя богатство азербайджанского фольклора, русской классики, мировых шедевров, выдающиеся образцы сегодняшнего симфонического письма, он в курсе каждого эксперимента, быть может обреченного на такую же внезапную гибель, как и внезапное рождение, но все равно требующего анатомического познания причин этой смерти.

И вот тут никак уж невозможно не сказать об эрудиции Караева в широком смысле этого понятия: когда он писал симфоническую поэму «Лейли и Меджнун» или, к примеру, музыку балета «Семь красавиц», любой собеседник мог поначалу отнести его суждения о поэтическом Ренессансе Востока к профессиональному знанию человека, досконально изучившего историю эпохи, ее литературу, искусство и зодчество, время, в котором рождались первоисточники его очередных сочинений, но это поначалу. Через час-полтора тот же собеседник, повернув беседу к любым другим темам - философским, политическим, научным, искусствоведческим, медицинским, спортивным, - мог обнаружить для себя уйму нового, даже в тех областях, которые он считал для себя досконально изученными.

И так всегда, во всем: идет ли речь о драматургии Софокла или о новинке, только вышедшей из-под пера молодого азербайджанского писателя, о египетских пирамидах или Останкинской башне, о росписях Боттичелли или эпосе Деде Коркут, об эстетических воззрениях Маркса или походах Петра, о сегодняшних социальных условиях итальянского крестьянства, советской шахматной школе или переводах Сабира на русский, - вся цивилизация у Караева будто на ладони, причем не в элементарных энциклопедических сведениях, а в глубинном познании и, в девяти случаях из десяти, в поразительно оригинальном толковании - этакий хрусталик в мозгу, который преломляет информационный луч в совершенно неожиданном ракурсе.

Случилось так, что в течение ряда лет, в летние месяцы, когда Баку превращается в огнедышащее пекло, и стар и млад кидается к несущим прохладу водам моря, мы жили по соседству на северном побережье Апшерона, где, кстати, однажды оставшись до ноябрьских праздников, Караев написал Третью симфонию.

Сюда я свез часть книг из своей библиотеки, и как-то, перебирая их, композитор забрал перечитать перед сном двухтомник Хемингуэя.

Через несколько дней книги были возвращены, но в одном из томов был забыт веер вкладышей, сопровождавших каждую страницу «Снегов Килиманджаро», - листки из блокнота, исписанные караевским мелким почерком. Таких листков было примерно вдвое больше, чем страниц в рассказе, и о чем только не шла здесь речь: о конструктивной схеме рассказа, особенностях композиции, внутреннем движении образа, о мыслимых и немыслимых подтекстах этого движения, варианты хода событий, совершенно противоположные тексту.

Так, делая свои выводы на бумаге ли, мысленно ли, Караев читает все. Так он, впрочем, относится не только к явлениям искусства, но и к явлениям жизни.

Если верить становящейся все убедительнее гипотезе, что асимметрия полушарий человеческого мозга делит людей по восприятию мира и вещей в нем в обязательной подчиненности одного полушария другому (правая - воспринимает все в образном выражении, а левая - в рационально-аналитическом), то Караев не стал бы Караевым, если бы не его ошеломляюще развитая «правополушарность». Однако Караев беспощаден в отсечении всего лишнего, третьестепенного, мешающего выявить в жизни и искусстве те зерна, которые в состоянии вскоре превратиться в бескрайнюю колыхающуюся ниву.

Суровый к себе, не прощающий ни одного просчета в высоких измерениях собственного творчества, Караев, скажем без обиняков, не прощает и просчетов других, что отнюдь не исключает, а подразумевает его неизбывную любовь к людям. Изречение «Любить - уметь прощать», возможно, и верно для основ семейного счастья, но есть чувство еще выше - любовь взыскательная, вызванная чувством ответственности за другого.

Караев - живое воплощение такой ответственности: художнической, партийной, общественной.

Он создал столько произведений, что их хватило бы на несколько жизней, - один голый перечень их занял бы несколько книжных страниц, но при своей виртуозной технике он смог бы написать еще больше. Что его останавливало? Ответственность.

Оставляя в стороне чисто авторскую музыку - оркестровые, инструментальные или вокальные сочинения, Караев никогда не ограничивает свою роль композитора в создании драматического спектакля и кинофильма, выступает в них не как музыкальный оформитель, а как соавтор, смело вторгающийся в постановку, решая труднейшую задачу не иллюстрирования, а насыщения их музыкальной драматургией.

Наверное, поэтому музыкальное оформление таких разных фильмов, как «Двое из одного квартала», уже упомянутые «Покорители моря», «Дон Кихот» или, скажем, «Гойя», театральных постановок «Гамлет», «Антоний и Клеопатра», «Дамоклов меч» или «Человек бросает якорь» полноценно существует и без экрана и сцены - не отрывком, не песней, а захватывающей слушателя цельной симфонической сюитой.

«Не мыслю современного композитора без работы в кино или на театре, и дело не только и не столько в технологическом совершенстве. Как ни парадоксально, находясь в подчиненном положении, стремишься ярче самовыразиться», - не устает он внушать своим ученикам.

Перечень его учеников составил бы длинный список. О чем он говорит? Тоже об ответственности. Не только за сегодняшний, но и за завтрашний день искусства.

Наконец, перечень партийных, государственных, общественных обязанностей Караева тоже удивителен: он секретарь Союза композиторов СССР и председатель этого союза республики, депутат Верховного Совета СССР нескольких созывов, член ЦК Компартии Азербайджана, профессор Азербайджанской консерватории, член комитета по Ленинским премиям и комитета по Государственным премиям Азербайджана - список обязанностей композитора можно было бы продолжить еще и еще, причем с полной уверенностью, что везде им правит одно чувство- чувство ответственности перед партией, перед народом, перед своим прекрасным и трудным временем.

Караев озабочен и сосредоточен на какой-то ему лишь ведомой мысли, возможно бесконечно далекой от его творчества, даже в те минуты, когда, казалось бы, он отдыхает и развлекается. Он относится к натурам, взваливающим на плечи вещи, с первого взгляда не имеющие прямой связи с его основным делом.

«Лично отвечаю», - говорят его глаза, поблескивающие из-под толстых стекол очков, и переубедить его, заставить не подвергать перегрузкам сердце и мозг, «философски» успокаивать их, что под каждой крышей неизбежны свои радости и печали, - означает заранее обречь себя на провал хотя бы потому, что у композитора, при всей многогранности его характера, негромкая, но непоколебимая волевая грань - главная.

К самому простому «да» или «нет» Караев приходит, пройдя через запутанный лабиринт мыслей и эмоций, но выводы его безошибочны, и только ему самому известно, как он к ним приходил.

В своей профессии, в музыкальной композиции, он предоставляет право для многословных толкований исследователям, своим же делом он считает не объяснять, а делать: перед ним комок глины, из нее он обязан вылепить изящный кувшин.

В этом смысле он напоминает Мартироса Сергеевича Сарьяна, в мастерской которого я был в Ереване, когда туда привели молодого одаренного художника с произведением, впервые намеченным к широкому показу.

Это был натюрморт - темная ваза, несколько гранатов и помятый персик на подоконнике, открытая створка окна, и за ней - полоска фруктового сада.

Сарьян, в видавшем виды сером халате, долго и молча смотрел на картину, а потом, чуть улыбнувшись, попросил разрешения сделать всего лишь одну поправку. Автор, конечно, закивал головой в знак согласия, а Сарьян, взяв палитру и кисть, опять же долго и молча размешивал краски, затем сделал быстрый шаг в сторону картины и одним взмахом посадил на темную вазу пятно цвета яичного желтка. И произошло волшебство - через окно в комнату ворвалось солнце, из-за створки повеяло осенним свежим воздухом, фруктовый сад, будто прощаясь с летом, окунулся в последнее нежное тепло.

На вопрос, как же объяснить происшедшее, Сарьян пожал плечами: мол, не знаю. А потом ткнул мозолистым пальцем в группу пришедших с автором искусствоведов: «Это уж их хлеб - комментировать».

Караев тоже предпочитает не рассказывать, а показывать - ученик иногда вправе ждать от него речи по поводу сочинения, а он вправе перелистать сочинение, усадить ученика снова за инструмент и, стоя позади, деликатно попросить иначе построить одну фразу, потом вторую, третью - глядишь, вроде то же самое. Но с тем «чуть-чуть», что и делает искусство искусством.

Или очередной режиссер, даже очень крупный, может обстоятельно, мотивированно, страстно говорить о желании музыкальным фоном подчеркнуть приподнятый романтический, эпический и одновременно лирический запев фильма или спектакля, а Караев, хмурясь и протирая очки, может вдруг прозаично произнести: «Да, да, понял, тут ведущими инструментами будут орган с гитарой». Через месяц-другой режиссеру только и останется завороженно слушать в павильоне запись органно-гитарного вступления в свою ленту, ловя себя на воспоминании о первой встрече с композитором - как же он пропустил через себя именно то, что он просил, какая же интенсивная, не облаченная в словесные одежды, внутренняя работа происходила в Караеве, результатом которой явилась эта торжественная и одновременно интимно-задушевная музыка.

Он, этот режиссер, не присутствовал на ночной эстакаде в открытом море, когда под яростными порывами надвигающегося урагана Караев сочинял в комнате поселкового клуба музыку, а Кармен полушутя-полусерьезно говорил, что ему никак не удается до конца понять этот феномен: «вот сидит человек за роялем, дотрагивается до каких-то клавиш, потом делает какие-то загогулины на бумаге...»

Скоро Кара Караеву исполнится шестьдесят лет.

Шестьдесят - незачем лить елей даже в юбилейные дни, - шестьдесят - это немало, но именно в эти дни вглядываюсь в становящиеся все глубже морщины на лице друга и в

белеющую проседь его волос, а передо мной невольно оживает все тот же кудрявый крепыш с отблесками огня в огромных глазах, буйный фантазер, властно приказывающий парковой скамейке стать бригантиной.

Четыре десятилетия плывет эта бригантина в даль прекрасного. Ей еще долго плыть вперед, к новым далям.

НЕУГАСИМЫЙ ФАКЕЛ

Торжественно и взволнованно, с высоким чувством окрыленности, многоязычная советская литература проводит нынешний пленум, посвященный сорокалетию образования отечественной писательской организации.

Я отлично понимаю, что наш пленум - это не вечер личных воспоминаний, да и многим из нас, даже абсолютному большинству, по самому элементарному возрастному признаку не довелось быть участниками знаменитого Первого съезда советских писателей, но перед мысленным взором каждого рельефно встает одна картина: Москва 1934 года, Колонный зал и бессмертный Горький, будто держа в руках горящий факел, объявляющий необратимой реалией литературу совершенно нового типа, поднявшуюся из кипящего вала величайшей революции, вбирающую в себя все многообразие форм и особенностей художественного слова с незыблемых ленинских позиций партийности и служения идеалам людей труда.

Стоит представить себе эту картину, стоит вновь пройтись по стенографическим следам первого на планете писательского форума, чтобы в глубоком подтексте самого этого события явственно услышать: «Да, есть такая литература!», а это утверждение было предопределено всей историей развития литературного процесса в стране в послереволюционные годы. Для убедительности такого утверждения нужны были крупные художественные ценности, а они уже выразились в громовом голосе Маяковского и внутренней эволюции Есенина, в широких панорамах народного бытия, принадлежащих кисти Федина и Леонова, в первоначальном ошеломляющем Опыте Шолохова, в удивительной ясности и мужественности поэзии Тихонова.

Находясь в постоянном борении, побеждая в смертельной схватке с попытками увести литературу с магистрали ее нового движения, в образе громадного драматургического таланта Джафара Джабарлы, в зажигательных строках Сулеймана Рустама, в поэтическом возвышении тогда еще совсем молодого Самеда Вургуна, пришла на съезд наследница вековых гуманистических богатств, моя родная азербайджанская литература, наглядно являя собою один из национальных притоков, вливающихся в стремительные воды общелитературной реки.

Сегодня, с вершин современности, мы можем всмотреться в эту реку: она течет по обширным пространствам нашей Родины, и она не искусственный канал, а поистине редкостной красоты широкая река: с ее излучинами, стремнинами, водоворотами и мелководьями, она местами течет очень быстро, а местами гораздо медленнее, но так же, как путь всякой реки лежит к морю, путь нашей литературы за все истекшие десятилетия был направлен к одной цели - к заветным горизонтам, из-за которых встает солнечное утро коммунизма.

Исторический оптимизм, вера в такое устройство мира, когда властелином земных богатств становится их создатель, человек труда, исследование драгоценных россыпей его души - вот отличительные качества этой литературы.

Сделаться достойнее, мужественнее, красивее, обрести новые силы в конечном единоборстве добра со злом - разве не об этом мечтали лучшие умы человечества и разве не поэтому жизнеутверждающий пафос советской литературы становится все более мощным магнитом, притягивающим к себе внимание на всех континентах земного шара.

Действительно, что интереснее для людей, последовавших примеру нашей страны и воздвигающих на своей земле здание социализма, что важнее для бастующего

английского докера, для чилийского патриота или арабского феллаха: книги, помогающие жить, выстоять, победить, или книги, ниспровергающие понятие прекрасного, засасывающие в лабиринт патологических исследований сферы бессознательного, в разгул низменных инстинктов?

Что значительнее - трагические муки Мелехова, судьба Павла Корчагина, подвиг молодогвардейцев, душа Василия Теркина, а применительно к литературе моего народа показ, скажем, раскрепощенной женщины-азербайджанки, ее нравственный облик или облик хладнокровно убивающего, насилующего, грабящего супермена?

Тут не может быть двузначных ответов, все это - очевидная истина, но истина, относящаяся к категории тех, которые не тускнеют от повторений, и сейчас, при всем нежелании самоуспокаиваться и бить в литавры, на минуту представив себе Горького на трибуне Первого съезда, особенно приятно осознавать, что его прогнозы на обозримое будущее «перед лицом всей пролетарской Страны Советов», логически вытекающие из ленинских предначертаний, стали явью окружающей действительности.

Советские мастера слова, где и на каком бы языке они ни писали, взяв на себя миссию стать провозвестниками братства, справедливости, прогресса, познали самое большое художническое счастье: они стали единомышленниками не только между собой, но и прямыми соучастниками сказочного преображения всего пейзажа страны, а тем самым - верными единомышленниками бесконечного множества своих читателей.

Цифры не лучшее средство в разговоре об искусстве, но иногда и они могут кое о чем сказать: как известно, Азербайджан теперь часто посещают иностранные писательские делегации, в том числе из развитых капиталистических государств, и все приезжающие не перестают изумляться тому, что книги писателей небольшой вроде бы земли, всего с пятимиллионным населением, издаются тиражом в десятки и сотни тысяч экземпляров, мало того, что издаются, но и полностью раскупаются, что одна только периодика, выпускаемая республиканским писательским союзом, то есть ежемесячные толстые журналы «Азербайджан» и «Улдуз», каждый в отдельности насчитывают до 70 тысяч постоянных подписчиков.

Одних этих сухих цифр достаточно, чтобы понять, какой неотделимой частицей духовного обихода народа стала его современная литература.

Нерасторжимое взаимовлияние действительности и ее отображения пером, открытая классовая принадлежность художника не сужали, а из года в год расширяли диапазон исканий и находок наших писателей, и в этом смысле они продолжали и поднимали на новые ступени традиции своих непосредственных предшественников, диалектически развивали их, ибо, как известно, традиции сами - это не застывшая, навсегда окаменевшая масса.

Вот многие из тех, кто был делегатом Первого съезда, не дожили до сегодняшнего дня, но ведь очень многих мы считаем живыми - не только в стихах, романах, пьесах, но и в гражданственной сути своей личности: у входящего во много видавший на своем веку зал собраний Центрального Дома литераторов так и звенит в ушах голос Александра Александровича Фадеева, оставившего для нынешних больших и малых деятелей литературы образец беспредельной преданности эстетическому идеалу, тончайшей проницательности в подходе к каждому явлению, стремления к сотовариществу в самом широком смысле этого слова.

«Все на свете тленно, кроме добра», - говорят в моем народе, и Добром с большой буквы навсегда останется подвижничество советских писателей, продолжающих быть индивидуальностями в манере, стиле, масштабе дарования, но объединенных единством высшего назначения - вписать свою страницу в книгу художественной летописи нашего прекрасного и трудового времени.

А время настойчиво выдвигает перед мастерами пера совершенно новые, порою поразительные по внутреннему величию задачи: благодаря Октябрьскому взрыву, через ожесточенные классовые бои, через трудности первых пятилеток, сквозь годину ужасающего нашествия гитлеровских орд, мы вступили в период неслыханного мирного

созидания, за которым открываются яркие перспективы все новых благородных человеческих отношений.

Созданное усилиями партии коммунистов чудо современности, новая историческая общность - советский народ - означает не только экономическое единство, но и всемерную интеграцию мыслей и чувств; научно-техническая революция - это не только автоматическая линия, управляемая электронными приборами, но и другой интеллект, другая психология, стирание граней между физическим и умственным трудом; понятие интернационализма - это не только сердечное расположение друг к другу и радушное гостеприимное застолье: у нас, на Каспии, среди морских нефтедобытчиков теперь есть не одна и не две бригады, в которых неделимой семьей работают, живут, борются, возвышаются люди более чем 20 национальностей.

Предвосхитить эти общественные перемены, постичь их глубину, дать читателю сильные вещи, способные вызвать не минутное любопытство, а ощущение власти над умами и сердцами: к сожалению, об этом приходится говорить даже в торжественные моменты, потому что - будем откровенны - несомненным удачам, взлетам мышления и вдохновения сопутствуют и произведения посредственные, в частности в прозе последних лет, не высвеченные светом подлинного таланта.

Можно найти этому любые объяснения, вплоть до того, что факт, мол, этот - неизбежный, тем более что грамотность вокруг выросла, а бумага все терпит. Однако появление самой, казалось бы, благой по замыслу, но блеклой по исполнению вещи должно тревожить, не давая никому покоя: выявление оригинального таланта, его обережение, его ориентация на крупные, ведущие тенденции общества, а не на растрату на пустяки остается предметом ежечасных будничных забот всех наших писательских организаций.

Дорога к решению день ото дня возрастающих по сложности и трудности художественных задач - одна: она пролегает через необозримое поле познания жизни, причем не через утилитарное знакомство с тем или иным участком этого поля, а, если можно так выразиться, через выстраданность тех мыслей, с которыми потом явишься людям.

В области мне наиболее близкой, в драматургии, не нужны очки с увеличительными стеклами, чтобы обнаружить успехи последних лет: большую часть репертуара всех театров составляют пьесы советских авторов, и пьесы, к примеру, азербайджанских драматургов, видят свет рампы не только в Баку, но и в Москве, в Ленинграде, в Вильнюсе и в Хороге.

Читаешь их, смотришь по ним спектакли и порою не нарадуешься растущему технологическому мастерству - стройности композиции, умелому наращиванию драматических коллизий, построению диалога.

И все-таки, чтобы пьеса и спектакль не стали просто «еще одной пьесой и еще одним спектаклем», недостаточно, уповать на профессионализм, нужна выстраданность, а отсюда и та степень отдачи, о которой, правда, касаясь кинематографа, когда-то очень хорошо говорил Довженко: «Снимать надо так, как будто это последний кадр в твоей жизни!»

Конечно же есть иного характера забота у писательских союзов - противоборство злобствующему идеологическому противнику, будь это очередной крикун из империалистических станов антисоветизма и антикоммунизма или доморощенный мещанин, заклейменный еще Горьким, но сменивший одежды и по-прежнему оставшийся ползучим приобретателем, сражение с противником, сотнями способов пытающимся, невзирая на смягчение международного климата мира, размыть монолитную целенаправленность нашего литературного движения.

Призыв беречь как зеницу ока идейную чистоту, прозвучавший на Первом съезде, в наши дни приобретает особую значимость.

Еще в древнеримском праве существовал закон: разбирательство любого дела начиналось с судейского вопроса - кому это выгодно?

Становясь судьей собственной творческой практики, нельзя не задавать этот вопрос себе еще перед чистым листом бумаги, тем более что социалистический реализм подразумевает разработку любой темы в любом избранном жанре, но при обязательном условии четкой позиции художника, с альтернативой: во имя чего и для кого он пишет. Малейшее притупление этой позиции порождает тот самый пресловутый аморфный «объективизм», при котором, по существу, начинает поэтизироваться наносный ил реки, а не ее прозрачные, утоляющие жажду воды. Это важно помнить сегодня, и обращено это напоминание к писателям, в предельной честности которых немыслимо сомневаться ни на миг: трибуна сегодняшнего собрания настолько высока, что попросту невозможно опуститься до упоминания имен единичных отщепенцев.

Нет, нет и еще раз нет: речь идет о естественных проблемах плодоносности здоровых и могучих сил семидесятиязычного советского словотворчества, и делегаты Первого съезда, объявляя миру о его формировании и завтрашнем подъеме, имели в виду боеспособность и ответственность этих сил.

Тогда, в памятном 1934-м, в этом Колонном зале был высоко поднят факел нашей литературы, и уже четыре десятилетия, подобно олимпийскому огню переходя из одних надежных рук в другие, он шествует по переднему краю самой истории.

Нынешнее поколение советских писателей, проявляя глубокое понимание своей миссии, осененное победными знаменами партии коммунистов, новыми свершениями украшает народную сокровищницу духовных ценностей, оно уверенным голосом везде и всюду повторяет: «Да, есть такая литература!»

Так слава же этой литературе, новых ей побед!

Колонный зал Дома Союзов,
13 сентября 1974 года

ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Все то, что мы сейчас делаем - добываем ли нефть в сибирской тайге или среди бушующих каспийских волн, возделываем ли нашу кормилицу землю, строим на ней города и пишем книги, - все озарено светом, излученным XXV съездом нашей великой ленинской партии.

Именно поэтому каждое выступление на нынешнем главном собрании писателей страны - это взволнованное стремление передать ритмы сердцебиения нашей многоязычной литературы, о высоком назначении которой и возрастающей роли в развитии общества так проникновенно говорил Леонид Ильич Брежнев.

В громадности обозреваемых исторических событий, в анализе содеянного советским народом за истекшее пятилетие, в гигантских предначертаниях партии в битве за мир, прогресс, социализм Леонид Ильич нашел возможность уделить как никогда много внимания литературе и искусству, сказал очень добрые слова в оценке их усилий. И нам, людям, имеющим дело со словом, попросту трудно найти ответные слова - могу лишь сказать, что в той воодушевленности, что главенствует во всех здравствующих поколениях советских писателей, таится залог нового восхождения литературы к доселе не покоренным художественным вершинам.

Чувство человека, пусть самое сокровенное, порою таящееся в неведомых душевных тайниках, никогда не останется в одиночестве, оно вызывает цепную реакцию других чувств, и, если снова вернуться к нашей общей воодушевленности, можно утверждать, что она вызвала к действию и другое, не менее важное чувство - обостренное до предела чувство ответственности перед временем и людьми.

Именно этим, новой волной осознания почетной и трудной миссии летописца нашего времени - солнечного, победного, диалектически сложного, - характерны недавно прошедшие республиканские писательские съезды, а в том числе и съезд азербайджанских литераторов, начатый выступлением Гейдара Алиевича Алиева -

кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, «крупным планом» взявшего в орбиту раздумий все наши свершения и проблемы.

Я бесконечно далек от намерения заняться самоотчетом с этой трибуны и пересказывать подробности творческого разговора, состоявшегося в Баку, но некоторые особенности этого разговора, думается, типичны для сегодняшнего общесоюзного литературного движения в целом.

Море начинается с берегов, литература начинается с ее прикосновения к глубинным жизненным явлениям, и в этом смысле все то, что произошло на моей азербайджанской земле за последние годы, - невиданное и неслыханное раскрытие ее экономического потенциала, новое страстное прочтение ее революционных и интернационалистских традиций, не знающее устали сражение за нравственное возвышение людей труда - властно вписалось в литературный пейзаж, в котором с новой силой отчеканились заветы бессмертного Горького - правдиво и честно воспевать действительность, поднять ее, а еще выше над ней поставить Человека с большой буквы.

Кто он, этот человек, как проявляется его интеллект, как трансформируются его психологические структуры, как выявляются героические начала его характера - с этим настойчивым вопросом обращается сегодня писатель к своему современнику.

И тут мы вновь приходим к не стареющей от частых повторений истине, что подлинная литература, ставящая целью сделать людей мудрее, красивее, мужественнее, всегда соизмеряется с общенародной жизнью.

Сейчас азербайджанская романистика и новеллистика в целом укрупняет поднимаемые ею проблемы, отказывается от этнографичности, описательства, приобретает большую пластичность; поэзия расширяет тематические и жанровые горизонты; драматургия после некоторой замкнутости в кругу мелких интимных тем усиливает гражданственную активность.

Однако, если обратиться к строгой литературной Фемиде и положить на чашу ее весов два понятия - самого современника и его художественное воплощение, - перевес окажется на стороне современника, и не потому, что в мизерные сроки он выявил себя способным расщепить атом, овладеть высокими скоростями передвижения, пробиться в космос, изобрести лазер, а потому, что он душевно все-таки богаче многих своих литературных прообразов.

Я говорю о многих, ибо надо быть слепым, чтобы не увидеть совершенно очевидные художественные победы последних лет, но тем не менее, памятуя слова Леонида Ильича Брежнева, что «талантливое произведение - национальное достояние», прямо перекликающиеся с ленинским утверждением, что «талант - это редкость, его надо беречь», нам предстоит сосредоточить внимание на том, чтобы художественное воплощение было достойно своего прототипа. Издревле место литературы было впереди, а не позади жизни, а сейчас - тем более.

Мы говорили об этом в Баку со всей откровенностью: азербайджанские советские писатели - художники счастливой судьбы, они оказались прямыми наследниками величайших гуманистических богатств, оставленных такими корифеями, как Низами, Хагани и Насими, как Мирза Фатали Ахундов и Сабир, им выпала честь отобразить революцию и то преобразование мира, о котором мечтали лучшие умы человечества, их любят и почитают в партии, государстве, народе. Только в небольшой делегации здесь, на съезде, - два Героя Социалистического Труда, четыре лауреата Государственных премий СССР, пять народных писателей. И все-таки, отдавая дань достигнутому, мы в трезвых размышлениях о грядущем пришли к неизбежному выводу - продолжать упорно воздвигать плотину перед мутными водами посредственности, покончить с нивелированием, с уравниловкой, не позволяющей отличить истинный талант от самой что ни на есть выпуклой бездари, пробовать и пробовать зажигать новые звезды на литературном небосклоне - именно звезды, а не тускло мерцающие свечи!

Любой художественный поиск, как бы любопытен он ни был, в конечном итоге подразумевает долговременного звучания находку, иначе он не выйдет за рамки

келейного эксперимента, останется игрой в слова, игрой в образы, игрой в звуки и краски, а нам ведь предстоит это пятилетие превратить в пятилетие не только материально-технического качества, но и Знака качества на духовных ценностях.

Задачу такой серьезности и такого благородства можно решить только в условиях дальнейшего взаимодействия всех литератур страны, используя самые различные формы общения - от перевода и издания книг, от личных контактов до таких масштабных форм, как уже проверенные на опыте Дни литературы.

Не из бронзы или мрамора, а вечно живой памятью в народном сердце останутся в истории Азербайджана Дни советской литературы, проведенные у нас в октябре прошлого года.

Это было грандиозное празднество, вобравшее в себя цвет советской литературы, собравшее в азербайджанские города и села 41 язык, но, будучи торжеством любви и признания, оно было и напряженнейшей работой, поверкой литературы с шагами окружающей яви, расширением панорамы ее наблюдений.

Вместе с тем эти дни (да и не только они, а любые виды укрепления связей) несут с собой и нечто уже гораздо большее и значительное - стих славного русского поэта посвящается городу юности Сумгаиту, героем азербайджанской пьесы становится тюменский нефтедобытчик, московский фильм увековечивает подвиг 26 бакинских рыцарей революции, и дело тут не только в расширении географических диапазонов: через расцвет национального мы вплотную подходим к интернационализации литературного процесса, и пройдут годы, десятилетия, может быть, еще больше, в этом зале соберутся наши внуки или правнуки и почтительно вспомнят о нас, своих предшественниках, которым довелось закладывать первые камни в фундамент величественного здания общечеловеческой культуры коммунизма.

Вот закончится наш съезд, мы снова окунемся в беспокойные течения наших творческих и общественных будней, нам предстоит с еще большим бесстрашием выходить на огневые линии современности, предстоит проверить идейно-эстетическое снаряжение, альпинистски штурмовать «восьмитысячники» мастерства, предстоит приумножить свои успехи в защите кристальной чистоты, партийности и народности в тяжелых боях с апологетами империализма и неофашизма, с носителями холерных бацилл маоизма и сионизма.

Незачем скрывать, нам будет очень и очень нелегко, но, беря за образец высшее, как не вспомнить строки поэта: «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?»

Книгами, книгами и еще раз книгами писатель ответствен перед обществом, и сейчас нет и не может быть книги «местного» значения: пишется ли она в столице или высокогорной деревушке на Памире, в Таллине или в Тбилиси, если это хорошая книга - она посредством могучего русского языка выходит на бескрайние просторы Отчизны, перешагивает через ее пограничные линии, становится боевой единицей в передовом литературном движении мира. Если это слабая книга - будь она даже написана, скажем, в бакинском пригороде Мардакяны, в непосредственном соседстве с дачей, где жил и писал Есенин и где, казалось бы, овеян поэзией каждый клочок земли, слабая книга - мертворожденная книга, в какие глянцевые, красочные обложки ее ни наряжай, автору и издательствам следует считать ее «пропавшей без вести».

Таков неумолимый закон словотворчества, и применение к нему армейских терминов совершенно не случайно: казалось, куда уж мирные вещи - бумага и карандаш, но литература была и остается делом военным.

И с этой точки зрения, вслушиваясь в замечательный отчетный доклад Георгия Мокеевича Маркова, вглядываясь в лица товарищей по перу, находящихся в этом зале, встречаясь со всеми друзьями в перерывах наших заседаний, так и хочется убежденно воскликнуть, что армия советских писателей находится на марше, в боевом походе в заманчивые дали будущего.

Нас, повторяю, ждут трудности, но ждут и ни с чем не. сравнимые радости выстраданной стихотворной строки, волнующей страницы пишущегося романа,

впечатляющей сцены в задуманной пьесе, ждут новые встречи и празднества, утверждающие наше братство и единство.

В азербайджанской литературе 1976 год назван годом Самеда Вургуна, ему исполнилось бы 70 лет, и память его - советского поэта и мыслителя-интернационалиста, общественного и государственного деятеля - ныне отмечает вся страна.

В золотой октябрьский месяц мы начнем празднества в честь его в Баку, где будем счастливы видеть всех вас и где конечно же повторим его слова, продолжающие звучать как призывный колокольный звон:

Поэты! Сильными руками
Раздвинем занавес времен,
В грядущее войдем
большевиками,
Под сенью славных
ленинских знамен!

Большой Кремлевский дворец,
23 июня 1976 года

СЕРДЦЕ КАРМЕНА

Прошли дни и ночи с той минуты, когда диктор телевидения сообщил, что не стало Романа Кармена, и, все эти дни и ночи переживая утрату, вспоминая и думая, я пришел к пониманию той истины, что будут притупляться мои острые болевые ощущения, но никогда не будет дум о Кармене в прошлом, только в настоящем времени, и это не риторическая фраза, а непреложный факт. И в основе этого факта лежит не только и не столько четвертьвековая долгота наших профессиональных и дружеских уз, сколько уникальная сила личностного вторжения одного человека в бытие и сознание другого человека.

Это вторжение, если можно так выразиться, формально относится к 1952 году, к предвечернему часу, когда в моей совсем недавно обжитой новой квартире раздался телефонный звонок и кто-то, чуть откашлявшись, неторопливо сказал, что это Кармен, что он в Баку и знает, где находится дом, где я живу, и что, если нет возражений, он через пятнадцать минут может приехать для делового разговора.

Ровно через пятнадцать минут он - ослепительно красивый, с гладко зачесанными на пробор серебряными волосами, контрастирующими с темно-синим, безупречно сшитым пиджаком, уже сидел у меня за столом вместе с очеркистом Иосифом Осиповым и без каких-либо длинных предисловий предложил мне стать соавтором по задуманному им фильму о нефтяниках Каспия.

Предложение было, разумеется, лестным, но, признаться, меня озадачило, и, почувствовав во мне колебание, Кармен объяснил, что выбор его не случаен - мне, молодому еще тогда, довелось опубликовать несколько литературных материалов о первооткрывателях морской нефти, написать пьесу «Заря над Каспием», а кроме того, он взвесил еще одно обстоятельство - будущая лента должна несколько отличаться от чисто документальных картин, поскольку в ней будут воссозданы эпизоды прошедшей высадки первого десанта разведчиков морского дна, а участие в их воссоздании писателя-очевидца представляется далеко не бесполезным. Сдержанная, без громких слов, нацеленность, за которой явственно угадывался взрывной динамизм, знаменитое карменовское обаяние, какой-то нежной эмульсией обволакивающее каждого (чему я был многократным свидетелем впоследствии), вскоре придали нашему разговору искреннюю доверительность, позволившую мне почувствовать, что этот рано

поседевший наш собеседник уже не раз бывал и в этом моем доме, и в доме, где я жил раньше, и в домах почти всех моих сверстников и приятелей.

И это было не комплиментом, а правдой - в начале уже далеких тридцатых годов по старым и новым бакинским улицам не неслись бесконечные потоки автомобилей- они были, черные «фордяки» и цветные «газики», даже мощный «пирс-арроу» у начальника городской пожарной охраны, но было их столько, что мы, мальчишки, попросту не могли не окружать каждую из них, если она останавливалась у какого-нибудь подъезда, чтобы, галдя, с видом бывалых знатоков не обогащать друг друга познаниями о скоростях, прочности шин, езде по бездорожью - отечественное автомобилестроение заявило о себе каракумским пробегом машин «АМО-3», а все эпизоды события мы видели в кино, а знакомил-то нас с ними - Кармен.

Вместе с автомобильным увлечением наши детские головы пленяла романтика освоения Арктики - мы стояли в очереди у газетных киосков, припадали к своим самодельным или покупным детекторным приемникам, стараясь точно попасть проклятой иглой на нужную грань кристаллика, чтобы узнать новые подробности, сыпали именами Шмидта и Папанина, Водопьянова, Каманина и Мазурука, опять бегали в кино, и опять это связывалось с вездесущим Карменом.

Оно, это имя, стало уже легендой, когда началась первая смертельная схватка с фашистской чумой, - мы, юноши, могли не только назвать, но и описать Университетский городок и Гвадалахару, могли быть гидами на площадях Мадрида и Барселоны, даже точно показать место, где происходил конгресс писателей в защиту мировой культуры, и все, все - благодаря тому же Кармену.

Потом была Великая Отечественная, укрупненно и выразительно запечатленная для будущих поколений, торжество Победы, подписание капитуляции гитлеровцев, Потсдам, а потом всемирный суд над вандализмом двадцатого века - Нюрнбергский процесс, во всех деталях увиденный опять же через объектив кармeновской кинокамеры...

Зажав в кулак стаканчик «армуду» с чаем, Кармен внимательно слушал, улыбался - не губами, а искорками в серых, пристальных глазах - и потом, вздохнув, сказал:

- Мне уже идет сорок седьмой год.

Тогда нам действительно показалось, что это очень много, а в нашем народе принято почитать старших, и я умолчал еще об одной причине, заставляющей меня сдержанно относиться к такому заманчивому предложению, - дело в том, что я считал себя безнадежно больным, несмотря на заверения врачей.

Мы уговорились встретиться послезавтра, а именно послезавтра рано утром я решил немедленно лечь в больницу. Первое, что я увидел, войдя в больничную палату, - это столик у окна, с пишущей машинкой у одного края и стопкой бумаги у другого, и сидящего на подоконнике и болтающего ногами Кармена.

- Я болен, - глухо сказал я.

- Ага, - весело откликнулся Кармен.

- Сами понимаете, работать не в состоянии...

- Да, работать, - показал на столик Кармен. - Если врачи, с которыми я болтал битый час, окажутся неправы, - это будет наша первая и последняя совместная работа.

Вместо ответа я не лег на кровать, а сел за столик.

- Кстати, - уже без смеха, жестко отчеканил Кармен, - перед началом каждого фильма следует считать, что это твой последний фильм.

Сейчас, с высоты времени, его слова приобретают все более емкий смысл - он шел от фильма к фильму, от книги к книге, от статьи к статье, как из одного сражения в другое, с такой беспредельной отдачей, будто следующих может уже и не быть.

Вот передо мной фотография - мы все в рабочих стеганых ватниках: операторы Мамедов и Медынский, второй режиссер Алили, композитор Кара Караев, сам Кармен с портативной камерой через плечо. Сбоку - здание клуба и окно комнаты на втором этаже, в которой Караев писал музыку к фильму, поодаль так называемая «дежурка», сборный щитовой домик на эстакаде, где мы жили и работали - писали сценарий, переделывали, дописывали.

Работа сама по себе была трудной - нужны были лаконичные, строгие решения, предельная точность. Кармен творил по тургеневскому правилу «выдумать ничего нельзя», терпеть не мог помпезных украшательств. Его интересовала правда. С большой буквы.

Еще труднее было привыкнуть к ветрам и пенящимся штормовым валам, грозящим снести эстакаду, а заодно и разнести в щепы наш деревянный домик, но мы-то уезжали на денек-другой на берег с очередной сменой, а Кармен оставался - аккуратный, невозмутимый, доброжелательный, удивительно быстро устанавливающий контакты с людьми: уж на что разные характеры были у прославленного мастера Михаила Каверочкина или, скажем, у его бывшего ученика, не менее ныне прославленного Курбана Аббасова, а они оба вскоре в Кармене души не чаяли. Впрочем, это чувство к нему питали все - от первого руководителя нефтеразведки Агакурбана Алиева до строителя Рощина, приехавших сюда, чтобы воссоздать перед камерой кадры первой атаки на морское дно, от телефонисток на коммутаторе и до рыжеватого, застенчивого юноши-испанца Льяноса, которого Кармен обучил своему сложному ремеслу, но не смог научить правильному русскому произношению. Так он и ходил за ним, почтительно шепелявя: «Ромьян Лазаревич».

«Хочешь познать человека, отправляйся с ним в дальнюю дорогу», - гласит старая азербайджанская пословица, а мы находились в пути, в этом чудо-городке, поднятом над Каспийскими водами, где метр за метром наращивались полтора километра пленки, призванные увековечить этот несравненный подвиг бакинского рабочего класса, и Роман Лазаревич ежедневно, а иногда и ежечасно поворачивался к нам все новыми гранями своей необыкновенной внутренней сути.

Располагая огромными знаниями, блестящей памятью, мысля - не будем бояться истертости этого выражения - в глобальных масштабах, он рассматривал каждое явление в своем оригинальном ракурсе, беря в центр внимания того или иного человека и всего лишь несколько резко контрастных деталей, из которых отчетливо складывалось новое представление о явлении в целом.

Поздними вечерами, уютно расположившись на своей койке или в одном из двух кресел, составляющих единственную роскошь нашего спартанского жилья, потягивая сигарету и зажав по привычке в кулак стаканчик чая, а то и рюмку коньяка (в сухой закон, сурово действующий на морском нефтепромысле, было внесено исключение для съемочной группы), Кармен рассказывал. Об Испании - не о том, как были расположены противоборствующие силы, какую тактику избрали республиканские части, а какую - франкисты, нет, он брал конкретный факт и, рассекая его, будто ножом, на составные части, тем самым поворачивая к тебе такие неожиданные моменты, что мы ахали или мычали на своих койках. («Был в интербригаде итальянец Видали, там звали его «капитаном Карлосом». Ушел в разведку, на заре, видим, впрягся в тележку, тащит, потом обливается. Оказывается, трех фашистов поочередно взял, обезоружил, связал, в рот - кляпы, а тащить не может. Хорошо, обнаружил на соседней ферме тележку. Орет: «Принимайте, дьяволы, нашли себе мула. Отряд пошел, я в бой опоздал...» Или: «Снова бомбят Мадрид, выбегаю из переулка на площадь, в центре площади сидит грузный дядька в очках, с флягой в руке. Я присел рядом, отдышаться. Он отхлебывает от фляги, протягивает мне. Я тоже отхлебнул. Этак с издевкой спрашиваю, а зачем посреди площади сидеть? «Инстинкт самосохранения, - отвечает. - Отель ведь бомбят». Знакомимся: Хемингуэй» Или: «Звонят, что Кольцов попал в катастрофу. Мчусь в больницу, ну, думаю, сейчас - гипс, стоны, кровь сквозь бинты. Вхожу, гипс есть, пятна крови на простыне есть, а Кольцов с ходу: «Слушай, Роман, ты найдешь рифму на «железо»? Мне еще в Москве читатель звонил, ничего путного не придумал, ответил: «Пузо». - «Сам ты пузо», - буркнул парень и повесил трубку».)

Он рассказывал, вспыхивали искорки в его глазах, и, хотя он называл свои короткие повествования «байками», мы заново путешествовали по стране рыцаря печального образа в его трагические минуты, затем переносились в безмолвие арктических льдов, затем в грохот уличных боев возле рейхстага.

Во всех этих «байках» Кармен сам был действующим лицом, но лицом на втором плане, будто от него-то лично не требовалось отваги снимать штурм в Толедо, на его долю не выпали мытарства полярной зимовки и не ему - величайшая ответственность заснять процедуру капитуляции гитлеровской Германии. («Только успели управиться с аппаратурой, со светом, входят представители победившей армии во главе с Жуковым, спустя немного - ввели Кейтеля. Он взял ручку, помедлил, подписал акт, а я уже успел на ручку нацелиться - ну, думаю, этот сувенир не упущу. Снимаю стол, сидящих, снимаю зал, поворачиваюсь снова к столу - ручки уже нет. Как в воду канула»).

Впрочем, он не уехал из Германии без сувенира - у него дома, когда он жил на Мосфильмовской улице, на лицевой стене висела жестяная дощечка-указатель главной берлинской улицы «Унтер-ден-Линден», вся изрешеченная пулями в последнем сражении, - перед ней замираешь, как перед шедевром живописи. Что же заставляло Кармена отодвигать себя на второй план? Скромность? Возможно, он гораздо чаще недооценивал себя, чем переоценивал. Интеллигентность, не терпящая хвастовства? Тоже возможно, его духовная структура достигла той вершины культуры, про которую французы говорят, что это то, что остается в человеке, когда он забывает, чему его учили.

Однако думается, что главным образом такое самоотвержение продиктовано гораздо большим - волею судьбы Кармен находился чуть ли не во всех горячих точках земного шара не наблюдателем свысока, а прежде всего соучастником происходящего, умеющим сразу определить свою сторону баррикады и каждым шагом доказывающим правоту своего выбора, - если бы, как в старину, к именам добавлялись бы эпитеты с большой буквы - Грозный, Справедливый, Прекрасный, то к Кармену более всего подошел бы эпитет Неистовый.

Одной из горячих точек послевоенного созидания в стране оказалось освоение нефтяных богатств Каспийского моря, и неистовство Кармена привело его сюда, к единоборству мужественных добытчиков с лютой стихией.

Лютым же Кармен тоже становился - в работе, исключающей малейшее промедление: где бы ни находился, на ночь ему был нужен стакан воды и зубная щетка, а кроме этого - стул, скамейка, тумбочка, чтобы рядом с кроватью лежала камера. Благодаря этой привычке, доведенной до автоматизма, в фильм «Повесть о нефтяниках Каспия» попали кадры пожара в море - ночью произошло внезапное подводное извержение, взметнувшее вверх столб газа, песка, ила, камней, кремни со страшной силой столкнулись в воздухе, дали искру, через несколько минут округа полыхала адским пламенем, а в такие же считанные минуты Мамедов и Медынский, твердо усвоившие принципы Кармена, уже яростно бросались с одного места в другое, чтобы не пропустить ни одного момента этого неповторимого случая.

Было бы нечестным утверждать, что выдающийся мастер обеими ногами топтал честолюбие, - честолюбие, как известно, не тщеславие, а достигнутой славой дорожат: когда фильм был показан объединенному пленуму всех творческих организаций страны и в бурном восторге Александр Александрович Фадеев бросился на сцену и, потрясая руками, воскликнул, что вот-де, мол, они, герои труда, поднятые Карменом на высоту большой поэзии, Роман не стеснялся слез счастья, скатывающихся по его щекам.

Он понимал, что его профессия подразумевает мгновенную реакцию, - поезд еще догонишь на такси на следующей станции, но событие не догонишь, но понимал ли он, что, фиксируя исторические акции, он талантом и мастерством создает непреходящие ценности в художественном смысле? Очевидно, понимал, иначе с такой самозабвенной щедростью, переходящей в беспощадность к себе, не растрачивал бы нервную энергию. И не находился бы в поиске - в постоянном, мучительном поиске найти «как», довольствуясь тем, что окружающая реальность столь щедро предоставляет ему «что».

Его фильм «Повесть о нефтяниках Каспия» прошел по стране и за ее рубежами, выразив до конца заложенный в нем потенциал воздействия на людские массы, а Кармен - в письмах, телефонных звонках, встречах - постепенно заставлял задумываться о следующей работе на эту тему: в море шли интереснейшие жизненные процессы,

поступала все более могучая техника, наращивались металлические надводные магистрали, образовывалось уже второе поколение нефтедобытчиков, практически стирающее разницу между интеллектуальным усилием и напряжением мышц. Тем не менее слепая стихия продолжала оставаться слепой - в ураганную ночь в ноябре пятьдесят седьмого года, на индивидуальном основании, выдвинутом вперед от края эстакады на значительное расстояние, погибла вся буровая партия во главе с одним из первооткрывателей Нефтяных Камней Михаилом Каверочкиным (тем самым, что находился в центре композиции памятного кадра в предыдущем фильме - возле ведра с первой нефтью, в упоении победы обмазывающий ею лица разведчиков).

Весть об этом бедствии потрясла Кармена, он писал, что внутри у него образовался какой-то вакуум, и, видимо решив, что мудр принцип «клин клином вышибать», через несколько недель позвал меня в Москву писать вместе новый сценарий - о советском человеке, не плавающем по морю, а впервые гордо вставшем посреди него и принявшем вызов природы, - он делом стремился доказать, что такое в его представлении верность товариществу и дружбе.

Мы возвращались на «круги своя» - утром, без пяти восемь, я видел из гостиничного окна, как знакомая черно-белая машина паркуется в шеренге машин вдоль тротуара, а ровно в восемь - гладко причесанный, выбритый, благоухающий, все с теми же смеющимися серыми глазами -он входил в номер, чтобы, если не считать часового перерыва на обед, выйти из него в восемь вечера.

Поразительная трудоспособность Кармена не секрет даже для того, кто его ни разу не видел, но секрет такой способности я разглядел не в море, не на съемочных площадках, не в павильонах студии, а в номере гостиницы: он умел отключаться. Нахмурившись, стучит на машинке час, полтора, два, потом вдруг снимает очки и предлагает, скажем, съесть по банану, что давеча захватили в буфете. Что ж, съесть так съесть, надо отложить в сторону свои листки бумаги и карандаш и это сделать. Но надо было видеть Кармена в этой передышке - он не принимал пищу, а священнодействовал, очищая кожуру со сморщенного замороженного плода, успевая сообщить, что ему приходилось срывать гроздья бананов на забытом богом и людьми островке где-то возле Джибути, уверять в наличии мощных витаминов, углубляющих мозговые извилины, - короче говоря, в номере воцарялся короткий праздник, тот растянутый миг, который, присоединяясь к тысячам других, превращает в праздник всю жизнь.

А жизнь для Кармена, с его редкостно яркой, но и трудной судьбой, сопровождающими радости неимоверными тревогами и болями, была единожды дарованным праздником: его элегантность, подтянутость, даже походка и даже манера разговаривать могли бы со стороны оцениваться как раз и навсегда выбранный стереотип, имеющий подражательные корни, - если бы не сразу обнаруживаемое полное отсутствие намека на сытость, на этакую исключительность - Кармен был неимоверно жаден до жизни, полон желания постичь ее во все новых возможных и невозможных проявлениях.

Наверное, это-то качество постоянно бросало его на передний край времени, туда, где решается нечто очень важное для фотоистории.

Для этого требуется неподдельное мужество, из которого рождается подвиг, и мне уже приходилось писать, что, вдумываясь в природу подвига, последний можно разделить на два рода: короткий, требующий максимальной волевой отдачи акт, когда, скажем, боец грудью закрывает ствол вражеского пулемета, и акт долговременный, лишенный эффектности, но по крупинкам вырастающий в такую же высокую вершину.

Поздним летним вечером мы возвращались из Красной Пахры в Москву, с дачи Романа, с летчиком Мазуруком, в свои тогда почти шестьдесят все еще летавшим в мглу полярной ночи, и в машине он поведал свои мысли по поводу смелости Кармена: не игнорируя его бесстрашия, проявленного в Испании и на фронтах Отечественной, он сказал, что лично был покорен его неподражаемым мужеством во время многомесячной вынужденной зимовки на Земле Франца-Иосифа, в наспех сколоченном домике, вокруг

которого бродили белые медведи, на ограниченном пайке, на узких нарах, поставленных одна над другой.

Начальник довольно большой группы зимовщиков рассудил, что хуже холода и голода на нее будет влиять вынужденное безделье, и расписал железные правила, предусматривающие максимальную загрузку чуть ли не каждого часа, начиная от подъема до отхода ко сну.

В образец для всех превратился не кто-нибудь из профессиональных полярников, а кинооператор - он вскакивал при побудке с такой поспешностью, будто опаздывал на срочную съемку, брился с такой тщательностью, будто отправлялся на торжественный прием, очищал снег с крыши с такой деловитостью, будто от взмаха его лопаты зависит благодатное расположение звезд в Галактике. А главное, своим неиссякаемым юмором держал оптимистический настрой зимовщиков.

- Что он только не вытворял! - раздумчиво говорил Мазурук, не забывая переключать фары или сбрасывать газ на поворотах. - То разыграет одного грозной радиограммой, полученной якобы от тещи, то сунет трубку другого в кастрюлю, тот перероет все вокруг, но уж лезть в кастрюлю кому придет на ум? Или обнаружил наковальню. Как она к нам туда попала, объяснить не могу до сих пор. Роман нашел ей применение: отбой, выключается движок, все, кроме дневального, по койкам, за каждое слово - наряд вне очереди, а ты попробуй не зареветь, если он успел эту наковальню втиснуть тебе под одеяло. Озорство, ребячество? Однако учти, в ситуации, когда ребром стоит дилемма - выживешь или нет.

Я молча кивнул, невольно вспомнив древнейший драматургический закон: одно дело спросить, как здоровье, как поживаете, как жена, раскланиваясь со знакомым литератором в вестибюле здания на улице Герцена, другое-задать этот вопрос соседу по салону самолета, объятого пламенем и падающего в океан.

Наш общий с Мазуруком друг ценил этот закон и в искусстве, и в общении с людьми. Мы за три недели, трудясь как волы, написали сценарий «Покорители моря», отпечатали титульный лист, сброшюровали экземпляры, после чего конечно же обязаны были обменяться хотя бы рукопожатием.

Кармен же погасил окурок и вдруг начал зло ругаться:

- Черт подери, завтра на эту бездарную писанину накинется рой редакторов: как же это, братцы, погибают двадцать один человек на вахте, а где техника безопасности? Вы что, ее позабыли?

Наступила неловкая пауза, потом я исподлобья взглянул на Кармена, заметил в его глазах обычные насмешливые искорки, и сразу стало ясно, что мы одолеем не рой, а тучу редакторов, пройдем сквозь споры, срывы и даже ссоры, столкнемся с необходимостью вырезать любовно выписанные и так же любовно отснятые кадры, где-то окажется бракованной пленка, и почудится полная катастрофа - потеряется неповторимый факт, но там, где есть Кармен, - там будет фильм.

Особое напряжение создалось у нас на заключительном этапе: в дикторском тексте объявились истертые фразы, никак не оживляющие визуальный материал, сам материал не укладывался в установленный метраж, а тут еще буквально взбунтовался Кара Караев - симфонический оркестр в полном составе сидел в студии в Лиховом переулке, а композитор не сдавал часть партитуры, в том числе главный кусок, условно названный «Реквиемом». Мало того, он вообще исчез, оставив возле рояля в гостиничном номере странную записку с просьбой не искать его, поскольку ему «надоело отражаться в чужих зеркалах».

Было от чего потерять голову. Кармен облокотился на полированный край рояля, почесал мизинцем макушку и, без всякого к тому повода, расхохотался.

- Я почти в положении Немировича-Данченко, - пояснил он, явно разыгрывая театральную «байку» о том, как Немирович, сидя на премьере, ждал со зрителями впечатляющего эффекта от возникающей перед взором декорации с двумя влюбленными, но машинист сцены повернул круг в противоположную сторону, обнажив жалкую изнанку декорации с торопливо доедающим бутерброд актером. Немирович

убежал из зала, и его нашли в кабинете поливающим голову водой из графина и приговаривающего: «только спокойно».

Кармен же сказал: «Найду Караева».

И он нашел его. Рано утром привез от друзей. И тот обещал, что и суток не просидит за роялем, как даст необходимую музыку к записи. И выполнил слово: написал такую музыку, что дирижер и исполнители прослезились, а Кармен нарочито медленно опустился на колено и воздел руки к потолку:

- Кара, с такой музыкой можно было опоздать не на день, а на год!

Он вообще был добрым к друзьям, радовался их удачам и огорчался при бедах - оно и понятно, будь в нем капля равнодушия, повторяю, из него не вырос бы крупный борец, до каждой клетки пронизанный чувством своей правоты в политических и социальных сражениях мира: он не просто регистрировал скамью подсудимых в Нюрнберге, вся эта скамья была его личным ненавистным врагом, и он ее клеймил, видел я кадр с гитлеровскими заправилами в иностранной хронике. Ну, кадр, ну, идут снятые в фас и профиль преступники, впереди Геринг, закрывающий лицо от света юпитера. В той хронике так и сказано: «Свет юпитеров ослепляет Геринга», а Кармен снял то же самое, чтобы потом, вместе с Симоновым, сурово произнести голосом судьи-диктора: «Не закрывайте лица, Геринг, оно известно человечеству!» Разница огромная, рожденная не только обостренным визуальным видением в сочетании со страстным словом, но и позицией художника, демонстрирующего ее, а не затушевывающего, - несколько лет назад он потряс нас фильмом «Сердце Корвалана», и каждый, кто, поздравляя, обнимал его, будто обнимал самого Корвалана, тогда еще томящегося в пиночетовском застенке.

Идеал - в чистоте веры, во всех эстетических и нравственных категориях - правил чувствами и поступками Кармена, возвышая его внутренний мир гуманиста, интернационалиста, коммуниста, борца за мир.

Как сейчас помню, на побережье Адриатики, в Триесте, выйдя из небольшого здания местной коммунистической организации, я заметил направляющегося сюда сухонького старика, опирающегося па палку. Это был антифашист «капитан Карлос».

- Нравится мне Кармен, - узнав, что мы дружим, сказал он тогда. - Неистовостью и непоказной храбростью.

Так может говорить один солдат о другом солдате, а будучи знаменитостью, нося высокие звания Героя Социалистического Труда и народного артиста СССР, находясь на десятках высоких общественных постов и, одновременно, занимаясь обучением юношей и девушек своей нелегкой профессии, выдающийся мастер был и остался солдатом.

У него были уже два рубца на сердце, когда он взялся (и выполнил!), казалось бы, за фантастическую задачу - смонтировать двадцать фильмов о великой войне своей Отчизны с фашистским нашествием, чтобы показать их американскому телевизионному зрителю, - свыше 85 процентов из них продолжают оставаться в неведении, почем стоил тогда фунт лиха.

Он шел к финалу своего последнего боя, когда мы встретились в начале апреля этого года, - он позвонил, спросил о житье-бытье, поинтересовался, не обнаружил ли я у себя новую болезнь, попросил спуститься вниз, к подъезду гостиницы. Через пятнадцать минут я сидел рядом с ним в машине. На дворе было холодно, он включил, отопление, и, не сговариваясь, подняться наверх или поехать к нему домой, мы удобно устроились на сиденье.

Кармен не говорил о тех лентах, что скоро пойдут в Америку, неторопливо, точно подбирая слова, он предложил мне начать думать еще об одном фильме о морских нефтедобытчиках, а тем самым превратить существующую дилогию в трилогию.

- Большие глубины, новейшая техника, экологическая проблема - сохранить море чистым, - говорил он. - И люди, люди, люди... Типа Исрафила Гусейнова... Чтобы через них просматривался весь Азербайджан последних лет...

Мы договорились обо всем, до мелочей, и он, правой рукой держа баранку, левой помахал мне, заворачивая на улицу Горького.

Никто не мог предположить, что это происходит в последний раз.

Как мы сделаем фильм без него, когда, с кем, - еще не знаю, но знаю, что, если он будет, во всем его подтексте будет трепетно биться сердце Кармена.

«Литературная газета»,
26 июля 1978 года

ВСЕГДА В ПУТИ

Мы приехали из Азербайджана сюда, в столицу братской Киргизии, чтобы стать участниками празднества, которое в большей или меньшей торжественности уже прочно вошло в обиход современной духовной жизни страны. Но день чествования Чингиза Айтматова - это особое празднество, поскольку сегодня в этом зале речь идет о редкостном феномене во всей многоголосой советской литературе.

Сказать о Чингизе Айтматове то, что думаешь о нем, в течение считанных минут - это все равно что пытаться за эти минуты вплавь пересечь бурное Каспийское море, а потому я не претендую даже на попытку добавить хотя бы несколько деталей к его великолепному литературному и личностному облику, ныне широко известному на всем земном шаре.

Скажу лишь о том, что именно здесь, среди киргизских гор и долин, произошел художественный всплеск колоссальной силы и отсюда шагнули в мир потрясающие внутренней красотою своей Джамиля, Асель, седовласая Толгонай, и их радости и боль стали радостью и болью сотен миллионов людей, так же, как и они, являющих собою частицу мироздания, но стремящихся возвыситься над ней и иметь право назвать себя Человеком.

Это изумляющее взор шествие, к которому позднее присоединились пронзенный испытаниями, выпавшими на его долю, владелец старого коня, трагически исчезнувший в речной стремнине, но вечно живой киргизский мальчик, а вскоре и его сверстник из крайиесеверных широт, и все они вместе стали покорителями не только пространства, но и гораздо большего понятия - времени.

Да, времени, поскольку уже сейчас совершенно ясно, что воображением и кистью Чингиза Айтматова создана и продолжает создаваться галерея человеческих портретов непреходящей ценности.

Я не случайно прибегнул к слову «галерея», ибо, будь Чингиз Айтматов живописцем, я низко поклонился бы его мастерству в пейзаже, в графическом рисунке, в натюрморте, но главное волшебство его кисти - это портрет, поразительно тонко передающий душевное движение.

Большая литература всегда держала в центре внимания такое движение, а в наш век, когда появились новейшие формы и средства, взявшие на себя массовую информационную миссию, это внимание возрастает стократ, и словотворчество Чингиза Айтматова ярчайший тому образец - оно часто исходит от древней поэтической притчи, бережно пронесенной через столетия родным народом, оно облачено в красочные национальные одежды и вместе с тем, по глубине психологического анализа и эмоциональной раскаленности, взмывает к общечеловеческому небу. Тут «видимо» и кроется истина, не тускнеющая от повторений, - тотальное признание писателя на всех просторах нашего социалистического Отечества и далеко за его границами.

(Думая об этом, как же не упомянуть, что, по подсчетам авторитетной международной организации, в прошлом году, опережая все другие названия, тиражи книг Айтматова в мировом измерении оказались на первом месте!)

Такое признание, казалось бы, не может не ошеломить, не наложить хоть какой-то отпечаток довольства на художника, признание, невольно заставляющее обратиться к изречению Вольтера о том, что неудачу в конце концов может пережить всякий, а чтобы пережить успех, надо иметь очень крепкую голову.

Находясь в исканиях, в постоянном напряжении мыслей и чувств, в разведке моделей, щедро выдвигаемых советским опытом развития киргизской земли, и проецировании их на плоскость искусства, Чингиз Айтматов ощутимо и зримо доказывает, какая же у него крепкая голова. Поиск - его мука, а эта мука - его громадное, ничем не заменимое счастье.

Когда мне - будь это в среде бакинских морских нефтедобытчиков или у молодежи в горном азербайджанском селе, в Москве, во французском провинциальном городке или в беспокойных арабских странах - задается вопрос, что же это за человек, Чингиз Айтматов, я неизменно отвечаю, что он сложен из крепкого тянь-шаньского материала, а живет по завещанному дедами закону: он друг другу и враг врагу.

Его друзья - это добро, достоинство, мужество, правда. Его враги - бесчестье, низость, ложь.

И куда ни забрасывает меня судьба, везде и всегда я становлюсь радостным свидетелем и очевидцем триумфального шествия потрясающих душу героев, рожденных его талантом и умом.

Они, эти герои, находятся в пути, на дорогах, ведущих во все четыре стороны света.

В пути, принимая на грудь ветры невиданной и неслыханной эпохи, по дороге к далям солнечного будущего, находится их создатель!

Фрунзе. Театр оперы и балета, 1979 год

ГЛАЗАМИ ДРУГА

Мне нравится смотреть на свой родной Баку, да и на всю мою небольшую, но неописуемо красивую, любящую труд азербайджанскую землю глазами приезжего друга: то, к чему незаметно привыкаешь в вихре повседневных забот, приобретает особый смысл в блеске этих удивленных глаз.

Вот и в первые дни нынешнего года ко мне вдруг приехал старый школьный товарищ, сейчас разбуривающий скважины на далеких тюменских просторах, и мы с ним поездили и побродили по разным уголкам нашего громадного города: я конечно же совершал с ним путешествие в свое озорное детство и бережно восстанавливал провалы памяти о нем; мне было приятно слушать рассказы о трескучих морозах, как бы подчеркивающих южную прелесть Баку, в котором залитые лучами неистового солнца улицы - продолжение домов, а продолжение улиц - сады и парки, и везде по-весеннему нарядны люди; было радостно при госте отвечать на приветствия чуть ли не каждого второго встречного и было грустно потом признаваться ему, что время-то течет неумолимо - тебя узнают многие, но с большей частью здоровающихся ты уже не знаком.

Однако главное откровение всей нашей встречи заключалось все-таки не в лирических воспоминаниях и наблюдениях. Дело в том, что друг мой не так уж долго отсутствовал, всего лишь десять лет, и по тому изумлению, что явственно читалось в его глазах, я заново ощутил всю значительность этих быстро промелькнувших годов.

«Послушай, но ведь этого не существовало!» - тихо или громко восклицал он, часто опуская на мое плечо тяжелую ладонь, и я кивком соглашался, что действительно не существовало новых линий метрополитена, ушедших за городскую черту, не существовало роскошного дворца, носящего имя Ленина, и такой же роскошной площади перед этим дворцом, не существовало других площадей и проспектов, нескольких комфортабельных гостиниц, спортивных сооружений, музея боевой славы 18-й армии, величественных памятников борцам революции и героям войны, не существовало стольких новых жилых массивов, образующих сложную взаимосвязанную систему целых микрогородков, выдвинутых на окрестные холмы и долины.

В мире сейчас все взаимосвязано, несказанно возросли скорости, обрели магическую силу средства информации, и в сибирской тайге не остаешься оторванным от любой

новости, но мудра старая пословица, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.

И, пользуясь хорошей погодой, мы с другом отправились в море, на Нефтяные Камни, где он когда-то работал, чтобы воочию убедиться, на сколько десятков километров удлинились надводные магистрали - эстакады, как выросли на намывном островке благоустроенные многоэтажные дома, как в единоборстве со стихией продолжается битва за каспийскую нефть, самый поразительный эпизод которой - выход добытчиков на большие глубины.

Вертолет совершил посадку на основание плавучей установки - целого индустриального комплекса за морским горизонтом, где прославленный мастер Исрафил Гусейнов, народный депутат в высшем законодательном органе страны, хладнокровного бесстрашия и обаятельной скромности человек, во главе отряда буровиков пробивается под дно моря сквозь восьмидесятиметровую водяную толщу.

В уютной кают-компании, на столике возле иллюминатора, лежит книга Леонида Ильича Брежнева «Целина», и я сразу оказываюсь в плену властной ассоциации с подвигом казахстанских целинников - редкостной ценности книга эта не только восхищает, не только наполняет гордостью за автора миллионы сердец, она служит основой для развития в настоящем и будущем - вот прямо перед нами вдоль и поперек распахивается новая, морская целина, сулящая миллионы тонн огненной жидкости, без которой, как и без хлеба, немыслима жизнь на земле.

Надо признать, что по сравнению с общим количеством добываемой сейчас нефти в стране бакинская нефть - все равно что ведро перед цистерной, но она уникальна по качеству, и не случайно, что в последние годы внимание бакинцев сосредоточивается вокруг переработки ее в важнейшие продукты, начиная от высокооктановых бензинов до первосортных смазочных материалов.

Гигантская установка «ЭЛОУ-АФТ» на Ново-Бакинском нефтеперерабатывающем заводе, где мы побывали после морских промыслов, - блестящее свидетельство такой сосредоточенности, имеющей в виду завтрашний день мощной азербайджанской индустрии: девятое и истекшие годы десятого пятилетия вписываются в историю как эра постепенного изменения всей промышленной инфраструктуры моей земли - вступления в строй гигантов химии и цветной металлургии, нарастающей мощности шинного и машиностроительных заводов, закладки фундамента приборостроения и расширения судостроения.

Цифры для писателя - не предмет для исследования, но мой тюменский товарищ, весь от техники с головы до пят, даже подпрыгнул, когда узнал, что только канувший в Лету семьдесят восьмой год принес Азербайджану восемь процентов прироста в промышленности.

Тем не менее самое большое интеллектуальное и эмоциональное потрясение ждало друга впереди, когда он оказался среди ослепительных стеклянно-бетонных коридоров завода кондиционеров, где его одели и обули в специальную форму, пропустили через дезинфекционную палату, прежде чем он получил право войти в ярко освещенный цех, по которому плыл конвейер, а возле него бесшумно священнодействовали рабочие и техники, на автоматических пультах вспыхивали световые точки, отражающиеся в до блеска натертом линолеуме, покрывающем полы, а в отделе технического контроля придирчиво проверялись добротные и изящные готовые аппараты, носящие название «спасителя» в летнюю изнуряющую жару.

Это было уже путешествие в двадцать первый век, и он вспоминал о нем до самого отъезда: вечером, перед тем как ехать в аэропорт, мы долго стояли на веранде шестнадцатого этажа гостиницы, в которой он остановился, - отсюда вечерний Баку выглядел полыхающей до неправдоподобия огненной феерией, и мы вновь впали в мальчишество, стали пробовать определить невозможное - отгадать, где, в каком доме, на каком этаже светятся окна квартир увиденного на заводе кондиционеров рабочего Фаика Мамедова или того же морского нефтедобытчика Исрафила Гусейнова, замечательного токаря со старейшего завода имени Шмидта Александра Кочеткова или

строителя из Наримановского фабрично-заводского района Артема Мирзояна. Почему? Потому, что это их руками сотворилось чудо преображения всего окружавшего нас пейзажа, это они - самоотверженные созидатели, хорошие трудовые люди, а хорошему человеку в азербайджанском народе желают: «пусть ярче горят огни твоего дома».

Эти люди способны преодолеть любую трудность, но есть одна непреодолимая и для них, и для всех других наших современников, где бы они ни жили и ни работали, - постоянная нехватка времени.

Именно из-за этой нехватки мой друг, торопящийся к своим сибирским буровым, не смог побывать в других азербайджанских городах и весях, и тут уж ему пришлось, вместо того чтобы увидеть, в седьмой раз довольствоваться моим рассказом.

Рассказ этот велся в разных местах, был отрывочен, зачастую строился всего на одной-двух тщательно выписанных деталях, окрашивался в тон сиюминутного настроения, но объективная суть его оставалась неизменной - последнее десятилетие для Советского Азербайджана смело можно назвать историческим.

Здесь упорно, терпеливо, последовательно происходил неслыханный и невиданный экономический всплеск, позволивший Азербайджану стать восьмикратным обладателем алого знамени, присуждаемого за доблесть в труде, и итог этого труда, поднятого на вершину самой высокой поэзии, стал мерилом бытия каждой сферы приложения человеческих сил - будь это завод, стройка, колхоз или совхоз, научная лаборатория или письменный стол писателя.

Нам, писателям, довелось уже несколько раз участвовать в зональных партийных активах, созываемых руководством республики перед хлопковой и виноградарской страдой, стать свидетелями того, как слова тружеников земли не расходятся с делом: юная Тарлан Мусаева, при нас обязавшаяся собрать хлопкоуборочной машиной рекордный урожай, выполнила это обещание с лихвой, на следующий год собрала еще больше; на одном только виноградном массиве Саяллы Нагиевой мы обнаружили столько любовно выращенных гроздей, впитавших в себя солнечный жар, что абсолютной реальностью представилась, казалось бы, фантастическая мечта приблизить сбор винограда республики к миллиону тонн ежегодно, а в ближайшем обозримом будущем - к трем миллионам; нам наизусть читал поэму Самеда Вургуна о партии стодвухлетний Гойча Амрахов - возраст не позволял ему выходить в поле, но ответ за дела на полях перед ним держали его сыновья, и своим ответом они подтвердили истину, что побеждают любовью к природе, а не страхом перед ней.

Образом легендарного Фархада, киркой сровнявшего гору, представляется ныне азербайджанский виноградарь, хлопкороб, а вместе с ними и овощевод, стремящийся превратить юг моей земли во всесоюзный огород.

Для такого раскованного, вдохновенного подвижничества, в котором отчетливо проглядываются признаки грядущего - стирание граней между усилием мозга и мышц, сводящаяся на нет разница между городом и деревней, нужен был моральный кислород. Боевая, свято оберегающая свои революционные и интернационалистские традиции партийная организация республики вступила в смертельную схватку со всякого рода скверной, если с лаем и не бросающейся на грудь, то пытающейся хотя бы укусить в икру, и свежий воздух теперь, вливающийся в легкие трудового человека, говорит о том, кто оказался победителем в этой схватке.

Эта схватка не ограничивалась презрением к злостно переступившим через строгую линию закона, она шла - и идет - по «второму слою», массированному удару по мерзости мещанства, вынудившего Горького разделить человечество на «изобретателей» и «приобретателей».

Современный мещанин переменил одежды, но в эти одежды заключено все то же дряблое тело заклейменного гениальным писателем приобретателя, подменившего богатейшую сущность жизни ненасытным потребительством.

Совершенно очевидно, что с ростом материальных благ опасность мещанства может быть предотвращена только высокой духовной заполненностью, и такой заполненности,

победному противостоянию культу вещей светлого празднества души, в Азербайджане отдается много, очень.много сил.

И сегодня, когда газеты, радио, телевидение сообщают о внушительных успехах индустрии, сельского хозяйства, науки, культуры, за этими успехами встает нравственная возвышенность людей труда, позволяющая судить, как широко шагают они в даль грядущего.

Да, «широко шагает Азербайджан!» - сказал Леонид Ильич Брежнев, в сентябре прошлого года приехавший в Баку, чтобы лично вручить городу Высшую награду Родины - орден Ленина...

Я описал другу подробности незабываемых пережитых дней, взволнованный и радостный энтузиазм, сопровождающий каждый шаг и каждое слово главы нашей ленинской партии и Советского государства, о том единстве устремлений, которое позволило руководителю коммунистов Азербайджана товарищу Г. А. Алиеву убежденно заверить Леонида Ильича, что этот шаг будет еще шире.

Об этой волне торжества, за которой вздымается и пенится другая волна - волна еще большей ответственности каждого - строит ли он дом, конструирует ли машину, возделывает ли землю, пишет ли книгу, - сейчас идет большой разговор везде: в Москве и Ленинграде, Украине, Грузии и Узбекистане.

К ответственности литературы мы с тюменским другом, естественно, возвращались не раз: время течет, но нельзя, чтобы история уходила вместе с ее творцами. Навечно материализовать празднество души этих творцов - миссия искусства вообще, а художественного слова в особенности.

...Поздней ночью мы прощались у трапа самолета в бакинском аэропорту, и друг, снова положив тяжелую ладонь на мое плечо, как-то очень просяще пригласит меня приехать к нему в Тюмень. Я понял: ему хотелось осмыслить то, к чему он незаметно привык в вихре повседневных забот, увидев блеск моих удивленных глаз.

Баку, январь 1979 года

ПРАЗДНЕСТВО ДУШИ

В те, уже давно отодвинувшиеся годы, когда мы были озорными мальчишками, в нашей отчаянно-буйной ватаге начали происходить странные веши: плещемся до изнеможения в море, потом, дрожащие, посиневшие, зарываемся в горячий песок, и тут кто-то, встав, стряхнув с себя песчинки, громовым голосом начинает читать о том, что такое хорошо, а что такое плохо, и покажется он нам таким же огромным, как автор этих стихов. Или с улюлюканьем гоняем мяч во дворе, вдребезги разбиваем очередное окно и убегаем от рассвирепевшей хозяйки на крышу соседнего дома, а один из нас с серьезнейшим видом ответит на доносящуюся снизу брань едкой сабировской сатирой. А то, бывало, перед уроком анатомии внесут в класс пожелтевший скелет, среди обычного гвалта войдет дежурный однокашник с черепом в руках, и мы сразу притихнем. «Быть или не быть», - начнет он, а в глазах его будет больше задумчивости, чем баловства.

Мы не до конца осознавали, что взрослеем, внутренне укрупняемся, а это укрупнение происходит с обязательным вторжением в наш обиход большой поэзии...

Сейчас, в октябре жизненного срока, рядом со мной нет многих из тех, кто был в его апреле, но, как бы ни складывалась судьба каждого, лучшие движения его души связаны с присутствием поэзии, незаметно и властно помогавшей формированию его нравственного облика, гражданской сути.

Было бы наивным думать, что это утверждение открывает неведомый материк на земном шаре, так же как и наивно оценивать явления поэзии в их прямой, прикладной функции. Интеллектуальное и эмоциональное воздействие этих явлений не однозначно: лирическое «Я не спешу» Самеда Вургуна может играть большую роль в воспитании

чувств, чем длинная рифмованная проповедь банальных истин, а найденный в вещевом мешке павшего солдата томик Есенина в не меньшей степени объясняет природу его самопожертвования, чем стихотворный плакат в землянке, из которой он вышел навстречу вражескому танку.

И тем не менее приходится часто возвращаться к размышлениям о гражданственном начале сегодняшней поэзии не только исследователям, но даже и мне, всего лишь ее давнему поклоннику. Почему? Потому что не могу не заметить явной избыточности поэтических поделок, оторванных от контекста времени и уводящих в лабиринты запутанных мыслей, ничтожно мелких чувств. Но может быть и обратное - не меньшая избыточность

Прямолинейно-риторических стихов, в которых аккуратное следование классическим размерам и обыгрывание рифм еще не означает способности вызвать новые сдвиги в познании быстро меняющегося мира.

Так или иначе, очень отрадно, что в Азербайджане появляются такие впечатляющие поэтические работы, как, скажем, новые лирико-публицистические циклы стихов Сулеймана Рустама, раскрывающие широкий спектр наблюдений, пронизанные большими радостями и тревогами мира, неукротимой верой в победу идеала, утверждению которого поэт отдал многие десятилетия. Или наиболее, пожалуй, значительное в неустанных поисках последнего периода другого мастера - Расула Рзы: речь идет о его поэме «1418», возвращающей читателя к годам Великой Отечественной.

У этой темы, встречающейся в творчестве каждого советского поэта, Расул Рза нашел еще один, новый ракурс: произвольно берется листок календаря с памяткой наиболее важного события дня, уверенной и смелой кистью воссоздается это событие, а из совокупности с другими листками монтируется трагическая и победная лента войны.

Лента эта, полная мужества и страданий, невольно заставляет вспомнить аристотелевский катарсис: возвращение к жизни через омытую слезами смерть, и эпизоды ее, если говорить на языке кинематографа, изобилуют крупными планами, рассчитанными на углубление читательского сопереживания.

Стремление вызвать такое сопереживание, собственно, всегда было конечной целью любого поэтического усилия.Но важно, какова она, эта цель: умиление вековым пейзажем или тем, что вписывает в этот пейзаж рука творящего человека? Бессвязная патология кошмарного сновидения или шаг в бессмертие, чтобы грудью защитить от пулеметного огня мать, ребенка? Аккорд гитары - всего лишь ласкающее слух звукосочетание, но когда Фикрет Годжа в мятущемся рокоте гитарных струн обращается к судьбе своего чилийского собрата Виктора Хары, читатель, превращаясь в сопереживателя этой трагедии, вольно или невольно входит в орбиту крупных эмоций и раздумий.

Именно в таком состоянии я находился недавно, в тот час, когда обычная деловая повестка заседания секретариата нашей общесоюзной писательской организаций завершилась неожиданно - Роберт Рождественский прочел только что законченную им поэму «Двести десять шагов».

В эти дни на Каспии бушевали злые зимние штормы, и, зная, каково сейчас нефтедобытчикам за морским горизонтом, вслушиваясь в строки, осмысляющие шаги воинского караула от Спасской башни до Мавзолея как шаги страны, я невольно подумал о том, на какой же еще- подвиг, требующий спокойной отваги, готовности к взаимовыручке, стойкости перед напором ветра и пенящихся валов, вдохновят эти строфы вахтенных буровиков, собравшихся в жарко натопленной будке у вышки, вокруг которой мгла ураганной ночи! Мне представились разные реакции: молчаливая задумчивость, возглас одобрения, любопытство, желание вновь прослушать ту или иную главу, восхищение, растерянность, а из этих воображаемых реакций начало отчетливо проступать убеждение, что я нахожусь в числе первых свидетелей художественного всплеска, безусловно нравственно обогащающего читателя, - мне он показался тружеником моря, другому, наверное, ученым от лаборатории, третьему - строителем железнодорожной магистрали в сибирской тайге.

Будет
        Ленин!
И от имени нас
будут эти
        двести десять шагов
        по планете! –

с той минуты, когда прозвучали эти заключительные строки, поэма начала полет в жизнь. Критика, находясь у сложных пультов управления литературными процессами, в состоянии наблюдать, вести отсчет, вносить даже коррективы в движение поэмы - ну, скажем, обратить внимание на заведомую импрессионистичность в компоновке отдельных глав, объяснить просодию стиха Рождественского, определить находку или повтор в образной системе. Тем не менее полет этот самостоятелен, и траектория его рассчитана на преодоление больших пространств. И долгого времени.

По высокой траектории движется ныне поэма замечательного современного русского поэта Егора Исаева «Даль памяти» - образец ярко национального, перерастающего в общечеловеческое. Неподдельной искренностью прожитого и пережитого он приближает предвоенную русскую деревню ко многим сопредельным и далеким землям - к моей, азербайджанской, она близка конечно же благодаря искусному переводу, который заканчивает Джабир Новруз, но в еще большей степени свежестью красок и масштабом обобщений.

Оглядываясь назад, выхватывая целые острова памяти, поэма эта всем существом прорывается в даль будущего - она, словами же самого автора,

Бежит,
Бежит
На чей-то зов далекий
В тревожной
        переимчивой тиши
На самом том
        извечном перетоке
Земли и неба,
Мысли и души.

Пронзительность такого извечного «перетока» не умозрительна, а действенна, она соотнесена с нынешним этапом, переживаемым обществом, страной. Доказательством такой действенности могут стать многие другие явления в семидесятишестиязычной отечественной поэтической культуре, среди которых я не могу не назвать еще непростительно мало высвеченную на тех же пультах литературной критики поэму Алекпера Салахзаде «Память скал» - не стихотворную фактологию революционного подвижничества бакинского рабочего Халара, а талантливый ассоциативный перенос этого подвижничества в разнообразный ход сегодняшнего дня. Или прекрасное творение Бориса Олейника «Доля» - напряженное, литературно-эпическое раздумье о духовных первоистоках украинского народа, нерасторжимой связи лирического героя поэмы с историей: звоном софийских колоколов и мечей на Диком поле, утопическими мечтаниями Кибальчича и взмывающим ввысь космическим кораблем в Байконуре, связи, продолжение которой легко обнаружить во всей окружающей нас советской яви. Это произведение несет в себе драгоценный социальный груз, предназначенный для того,

Чтоб себе ответить –
как, откуда вырастаем,
кто мы, чьи Мы дети?
Не случайно ль прорастаем

В современность эту?

Медицина доказывает, что дети растут во сне. Пафосом «Доли» Б. Олейник наводит на размышления о внутреннем росте взрослых. Впрочем, если абстрагироваться от научно доказанной физической акселерации, - о росте детей тоже.

Важность такого устремления переоценить невозможно: с ростом материальных благ перед новым поколением встает опасность культа вещей, опасность, не до конца еще понимаемая старшими, зачастую прикрывающимися вполне резонным тезисом: «Ради чего старались? Чтобы детям получше жилось!», однако без учета того, что каждая ступень житейского изобилия гармонична только при условии усиленного духовного заполнения. Без празднества души - прямая дорога в плен потребительства.

...Я встаю из-за стола, подхожу к окну, за которым синеет море, а перед ним - широкая лента бакинского приморского парка. То ли потому, что стоит погожий день и бухта и парк залиты неистовым солнцем, то ли потому, что в аллеях множество детей, мне кажется, что из своего октября я гляжу на апрель.

Вот на одной из площадок буйствует целая ватага подростков. Побросали свои портфели и сумки, исступленно гоняют мяч, сталкиваются, сбивают друг друга с ног, а я жду, когда они, изнемогая от усталости, повалятся на скамейки, а кто-то из них, отдышавшись, встанет и начнет читать запомнившийся стих.

Нет, мальчишки хватают портфели и, бурно выясняя отношения, скрываются за деревьями, как бы подчеркнув наивность моего ожидания. Однако я не расстраиваюсь - чуть раньше, чуть позже, но к ним придет внутреннее укрупнение. И оно будет связано с вторжением в их обиход большой поэзии. Той самой, что берет на себя миссию не дать просочиться времени, как песку сквозь пальцы, а также становящейся ростовым веществом для современника.

Миссия эта выполнима не через туманную дробность, возникающую при поврежденной глазной сетчатке, а при ясном, с широко раскрытыми зрачками, впередсмотрящем взгляде.

Я думаю о гуманистических устремлениях истинной поэзии и ловлю себя на мысли, что разделяю радость Н. Грибачева, недавно писавшего о гражданственности ряда произведений, противодействующих образованию «бедных кислородом гражданственности затончиков». Я вспоминаю поэму Рождественского и будто прикасаюсь к оголенному электропроводу - вздрагиваю от сознания, что на плечи каждого жителя Земли, «от гения до подонка», уже приходится до пятнадцати тонн смертоносного термоядерного груза. И мне приходят на ум строки Джабира Новруза:

Лишь о себе я думать
Не хочу...
Лишь о семье, -
О дочери, о сыне.
Пускай они поймут
                    мою мечту.
Любимые мои,
Мои родные...
Своей душой,
И совестью,
И словом
Хочу я быть полезным
Миллионам.

Баку, март 1979 года

ПЕСНЯ, ПЕСНЯ И СНОВА ПЕСНЯ

Недавно, в очередной раз вглядываясь через иллюминатор самолета в расстилающуюся внизу панораму моего Азербайджана, я думал не о темнеющих лесах и светлых лентах рек, не о пестрой скатерти степей и причудливых очертаниях горных вершин, а о людях, которые за короткие, предельно уплотненные их созидательной деятельностью советские десятилетия подняли на небывалую высоту славу этой земли.

Перед моими глазами возник образ Гюльбалы Алиева - седого, пышноусого, девяностолетнего старика, известного рабочего-нефтедобытчика, сутью своих деянии олицетворяющего революционную и созидательную суть бакинского пролетариата, - никогда не забыть его слов, сказанных с последним вздохом: «Жаль, я еще не насытился работой».

Вспомнился подтянутый, худощавый, невысокий человек, генерал Азим Асланов - мы прожили вместе целую неделю в холодном, нетопленном номере гостиницы «Москва». Когда все до мельчайших подробностей уже знали о смелых фланговых ударах его танков на Сталинградском фронте, он сам не спал ночей, торопясь закончить переформирование дивизии, чтобы вновь выйти на линию огня. «Чем скорее победишь, тем меньше потеряешь крови», - беспрестанно повторял он, и в его облике для меня воплотилась ратная доблесть сотен тысяч наших земляков.

Из лабиринта памяти выплыла фигура Юсифа Мамедалиева - обаятельного, корректного, порою даже до крайности застенчивого человека, ученого, всегда погруженного в свои мысли, казалось, не имеющие прямого отношения к потоку окружающей яви. Ан нет, именно он буквально переворотил нефтехимию и стал основателем совершенно новых методов переработки жидкого топлива. В этой фигуре для меня сконцентрировалась дерзость научного поиска в моем крае.

На суше, в море и в небе - всюду меня незримо сопровождает мой сверстник и литературный герой, отважный разведчик итало-югославского движения Сопротивления Мехти Гусейнзаде, которого по всей Адриатике любят и помнят под именем «Михайло». С каким достоинством он выполнил свой интернационалистский долг, хотя это и стоило ему самого дорогого - жизни.

Словно дополняя этот блистательный ряд моих земляков, ко мне из лесной чащи, разросшейся на склонах гор, вышел - в охотничьих сапогах, с папиросой в углу рта и с ружьем в руках - непревзойденный наш поэт Самед Вургун, но в эту минуту в самолете послышалась песня. Стюардесса включила проигрыватель, и пассажирский салон заполнился чарующим голосом ее исполнителя. Рашид Бейбутов. «Но песнь отчизны всех милей, и звал меня домой упрямо, как голос матери моей, напев старинного мугама». И я, естественно, перенесся из прошлого - пусть совсем недалекого - в настоящее и увидел светлеющие под песню лица моих спутников.

Звуки песни будто журчание кристально чистого ручья продолжали разливаться по салону, а я вновь перевел взгляд вниз, на сине-желтое морское побережье, над которым мы летели, и вдруг поймал себя на мысли, что ведь уже близко к полувеку песни Рашида Бейбутова звонко, вкрадчиво, гневно, призывно, ласково звучат на всех материках и островах земного шара, выполняя миссию выразителя души моего удивительно талантливого народа.

Тут нет преувеличений: в наш просвещенный век, когда разгадываются тайны космических пространств, открыта теория относительности и успешно производятся операции по пересадке сердца, в век увеличивающихся скоростей и совершенствующихся средств массовой информации, сотни миллионов людей продолжают не знать друг о друге ничего или знать слишком мало. За примерами ходить недалеко: Роман Кармен создал для американцев документальную киноэпопею о Великой Отечественной войне с фашизмом потому, что о ней не имеет представления

три четверти населения за океаном, а мне самому в европейских городах и весях слово «Азербайджан» порой приходится пояснять - «Баку, петроле...».

Рассуждать о демократической силе песни - значит ломиться в открытые двери, и тем не менее приятно все-таки повторить, что, минуя горные хребты, моря, пустыни, тайники русской души познавались и познаются через поистине народные голоса Руслановой, Зыкиной, Шульженко и многих других русских певцов, мечты и душа Франции становятся значительно более понятными благодаря талантам Эдит Пиаф и Мирэй Матье, а вот характерные интонации души Азербайджана - советской, социалистической страны, лежащей на стыке Европы и Азии, это, конечно, Рашид Бейбутов.

Разумеется, в Азербайджане были, есть и безусловно будут другие, не менее славные певцы, один Бюль-Бюль чего стоил, но я хочу отдать должное и Рашиду Бейбутову.

Редкостное природное дарование Бейбутова чуть ли не с первых его шагов было связано со счастливым обстоятельством, сразу же привлекшим к нему, можно сказать, тотальный интерес.

Это обстоятельство - фильм «Аршин мал алан». В суровое лихолетье, когда Баку превратился в арсенал фронта, а бакинская киностудия - в военизированное предприятие, переключившееся на создание фильмов о войне и усилиях тыла, на оперативные выпуски боевых документальных киносборников, неожиданно родилась идея экранизировать веселую, жизнерадостную музыкальную комедию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

В работу над фильмом был вовлечен сам Гаджибеков, определены режиссеры и подобран актерский ансамбль, удовлетворивший всех, кроме тогдашнего директора студии, ныне здравствующего народного поэта Азербайджана Расула Рзы.

И вот в это время, в городском Доме офицеров, начал выступать эстрадный оркестр с молодым солистом, начинавшим концерты незамысловатой лирической песенкой «Много нежных сердец, но в одном, лишь в одном мой приют и мой дом». О нем сразу пошла молва по всему Баку, и режиссерам по настоянию директора студии пришлось пойти на концерт. Но они не пожалели об этом: достаточно было несколько минут послушать певца, чтобы понять, что перед ними тот самый «аршин малчи» Аскер. Ради него был перестроен весь давно сформированный актерский ансамбль.

Фильм снимался мучительно трудно и долго, принимался тоже долго и с трудом, но стоило ему соприкоснуться с первыми зрительскими аудиториями, как стало понятно, сколь необходима была людям эта веселая жизнеутверждающая кинокомедия с удивительно теплым задушевным голосом Рашида Бейбутова. С первого просмотра началось ошеломляющее шествие фильма по всем экранам страны, а потом и за ее рубежами.

Фильмы вспыхивают ослепительно, но возвратиться к ним даже через самый короткий промежуток времени - все равно что подойти к угасшему костру.

«Аршин мал алан» относится к ряду исключений - он не постарел за тридцать с лишним лет своего существования, как не постарел и его герой, получивший столь обильную дозу любви и восхищения, что у другого обязательно должны были бы появиться признаки если не духовных колик, то хотя бы сытости.

«Аршин мал алан» стал для Бейбутова отправной ступенью на лестнице, ведущей в храм большого искусства, однако он нашел в себе волю и мужество понять, что как она ни соблазнительна, но это только ступень, а не лестница.

Всю последующую жизнь свою он полностью подчинил восхождению по заветной лестнице, со ступени на ступень, все выше и выше, и в этом смысле совершил подвиг, в основе которого не упование на божий дар, а каждодневный, не знающий пощады труд.

Вслед за фильмом, успевшим сделать не один и не два круга по стране, он отправился в путешествие по его горячим следам: пел на Дальнем Востоке и на Украине, вдоль Волги, Амударьи и Куры, в свете хрустальных люстр Колонного зала и в мерцании шахтерских лампочек глубоко под землей в Прокопьевске. Всегда с открытой,

располагающей улыбкой, бесконечно щедрый в артистической отдаче, дарящий радость живого общения с ним и сам преисполненный радости от общения со слушателями.

Число этих слушателей росло в геометрической прогрессии - среди них были горняки, металлурги, строители, рыбаки, хлеборобы и хлопкоробы, студенты, ученые, и многие из них полюбили не только голос певца, но и его непоказную простоту, искренность, глубину сопереживания с радостями, заботами и тревогами времени.

Так, пожиная лавры всеобщей любви и признания, Бейбутов стал выявляться и утверждаться как личность.

Он начинал и заканчивал свои концерты традиционно - ариями Аскера, но репертуар его постоянно обновлялся. В его магнитное поле притягивались песни народов СССР и мира - азербайджанские, русские, украинские, грузинские, армянские... И тут раскрывалась еще одна грань дарования певца - уникальная память (он никогда не пел со шпаргалкой в руках) и незаурядная способность к языкам, позволяющая ему петь настолько правильно по всему фонетическому строю языка, что узбек принимал его за узбекского певца, а белорус - за белорусского.

С годами все более расширялась орбита его выступлений. Она охватила почти весь лагерь социалистического содружества, страны Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Индии. И везде, куда ни забрасывала его судьба, он исполнял - три, две или всего одну, - но самые популярные, прошедшие испытание на прочность, песни того народа, перед которым начинал петь.

И при всем при этом - надо обратить на это особое внимание - Бейбутов начисто лишен космополитической всеядности: с головы до пят он весь, целиком, остался национальным азербайджанским певцом, и в этой-то неразрывности с землей, его породившей, он овладел сердцами слушателей всей планеты.

Музыкальный от природы, азербайджанский народ явил миру до него немало выдающихся певцов, но обстоятельства сложились так, что большая часть их не вышла за пределы родной и сопредельных земель. Одни, находясь в иных социальных условиях, не сумели раскрыть свой внутренний потенциал. Дорога же некоторых оказалась драматичной по их собственной вине - прокатились по небосклону искусства, как гром, и исчезли за горизонтом.

Рашиду Бейбутову удалось то, что не удавалось, пожалуй, никому до него: из года в год, из десятилетия в десятилетие он настойчиво нес песенное богатство Азербайджана из страны в страну, и не случайно его художественные искания даже по тематическому признаку отличаются тяготением к сегодняшним реалиям: в своеобразном лирическом преломлении он пел и поет об очистительном ветре Октября и сынах революции, сложивших головы во имя ее победы, о поэзии труда, о дружбе и единстве советских людей, их патриотизме и интернационализме, о борьбе за мир...

Как-то в зимний вечер, под барабанный стук дождя в окна, подчеркивающий тепло и уют комнаты, в которой мы расположились, Бейбутов достал из ящика письменного стола толстую папку фотографий, запечатлевших его в разных местах земли и в разных ракурсах. Что ж, памятные фото хранятся в каждом доме, а артисты на то и артисты, чтобы чаще других позировать перед фотообъективом. Поразило меня другое: не снимки с Гагариным, Улановой и Ван Клиберном, с президентами арабских стран, с Неру и Альенде, многими другими лидерами, военачальниками и знаменитостями составляли его гордость, а обилие снимков с теми рядовыми трудовыми людьми, руками которых кропотливо, камень за камнем возводится здание невиданного нового общества. Вот Бейбутов в обнимку с морскими нефтедобытчиками на эстакаде. Вот он сидит у алачуга с чабанами на летних пастбищах в заоблачной выси. Вот среди балок и панелей со строителями завода на Апшероне, с металлургами у мартеновской печи в Сумгаите, с рыбаками, виноградарями... Перебираешь эти фото, и звание народного артиста страны начинает восприниматься не как обозначение высшего почета, а как обозначение сопричастности ко всем народным заботам.

Может быть, поэтому Бейбутов многие годы бессменный народный депутат в высшем органе государственной власти, и, может быть, поэтому, при всем том, что специально

для него композиторами сочинено огромное количество песен, он с завидным постоянством обращается к роднику народной поэзии, издревле знаменитой умножением «строки на строку». И можно смело утверждать, что в летопись азербайджанской культуры певец уже вошел как неповторимый интерпретатор именно народных песен - мелодий безымянных создателей на слова таких же безымянных поэтов, анонимных газелей, баяты, гошм...

Устной народной поэзии Азербайджана посвящены тома исследований, и добавить к ним что-то еще - трудно. Разве только утверждение, что народная поэзия, как правило, при изящной игре слов уникальна на пластике - читают баяты или поют, перед слушателем неизменно встает художественный образ, по конкретности могущий спорить с кинематографическим кадром: «Из окон каменьев град, слезы капают подряд...» или «Я улицу полила, чтоб любимому ноги не пылить...»

Чувствует Бейбутов эту образность, повторяю, великолепно, а феномен образности, как известно, легко пересекает отдаленнейшие географические границы.

Сейчас Бейбутов в зените - сил, славы, исканий, - и это, учитывая его годы, не просто красивая фраза, сказанная из вежливости, а сермяжная правда: энергии артиста могут позавидовать юноши, а нацеленностью на новые задачи он являет собою образец того, как надо жить в искусстве.

В основе всякой жизни - движение, а в этом смысле Бейбутов как бы служит марктвеновской заповеди, гласящей, что есть один способ написать хороший рассказ - сесть и написать его. Пел один, затем с ансамблем, потом организовал и возглавил Театр песни с большой труппой, в котором поет сам, учит молодежь.

- На каких видах транспорта ты ездил? - как-то невзначай спросил я артиста.

- На всех. От подводной лодки до собачьей упряжки, - улыбнувшись, ответил он. А после паузы, уже без тени улыбки добавил: - Вот на космическом корабле не пришлось. Как думаешь, удастся?

Я взглянул на него - на задорный блеск его глаз и белизну его зубов - и, тоже не в порядке вежливости, ответил утвердительно.

Придет срок, и надо будет - он сядет и в космический корабль. Мне приходилось быть очевидцем, как он пел, вернее, - как он сам любит говорить - работал, преодолевая грани возможного: по четырнадцать часов на киносъемках, переодеваясь в опаздывающем автобусе, выбегая на сцену прямо из машины, из театра - на телевидение, а потом на поезд - в другой город.

В Нахичевани, когда торжественно праздновалось пятидесятилетие этой автономной республики, Бейбутов заболел: простуда, температура к сорока. И главное - горло.

Утром я зашел к нему, полагая, что он лежит и стонет, и правда застал его в постели, но не лежащим, а сидящим в фуфайке. Он горстями глотал какие-то таблетки и сосредоточенно вглядывался в пол гостиничного номера, на котором были разложены листы бумаги с крупно написанными фломастером стихотворными строками - Бейбутов переделывал куплеты применительно к предстоящим событиям.

- Вписать строку о необходимости открыть консерваторию в Нахичевани? - деловито спросил он.

Было излишним спрашивать, будет ли он петь через несколько часов. Вечером Бейбутов работал. И так работал, что только за кулисами кое-кто успел заметить, что его пошатывает от жара и он массирует горло, чтобы хоть немного убавить боль. Кстати, опасаясь, что операция может изменить неповторимый тембр его голоса, Бейбутов с юности находится в постоянном единоборстве со своим горлом. Парадокс? Да, но в еще большей степени - дополнительное свидетельство его художнического и человеческого подвижничества.

А иначе чем подвижничеством его жизнь назвать нельзя; в ту минуту, когда в самолете будто ласковое журчание кристально чистого ручья начали литься звуки его песни, я в ряду лучших людей моей родины, прославивших ее на все времена, увидел несравненного певца Азербайджана - Рашида Бейбутова...

ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ

Общеизвестно, что художественная литература - чуткий до предела, тончайший аппарат, отражающий радость и боль человечества, одно из мощных средств воздействия на умы и сердца людей.

В самом первородстве своем, по сути самой природы своей, художественная литература есть понятие нравственное, причем в самом высоком значении этого слова, поскольку она, по выражению Горького, не «фотографирует» явления жизни, а утверждает или отрицает их.

Таким образом, в утверждении или отрицании, высшим назначением истинной литературы является цель сделать человека мудрее, добрее, достойнее, помочь его внутреннему самоочищению, открыть перед ним новые горизонты его возможностей.

Я сознательно прибавляю к слову «литература» эпитет «истинная», поскольку тоже известно, что во все времена и при разных общественных формациях, а в нашей современности - с особой контрастностью, движение литературы сопровождает движение антилитературы, использующей поэтическое слово для разрушения внутренней структуры человеческой личности.

Изначальное противостояние литературы прогресса и литературы реакции в наши дни приобретает характер глобальной духовной схватки, на передней линии которой в постоянном единоборстве с проповедью обреченности человека, его душевной опустошенности, неизбежности его гибели, стоит литература социалистического реализма- создаваемая на семидесяти восьми языках советская многонациональная литература.

Советская власть подняла на невиданную высоту общественный престиж художественной литературы и ее творцов. Подлинное искусство, в том числе и художественное слово, неразрывно связано с заботами, думами, надеждами народа. Трудовой класс, ставший хозяином своей судьбы в нашей стране, выдвинул из своей среды новый тип художника - патриота, гражданина, интернационалиста, для которого нет выше и священнее цели, чем идеалы Коммунистической партии, интересы широчайших масс, претворяющих эти идеалы в жизнь. Гуманистическая миссия литературы, осуществляющаяся великими художниками прошлого, творцами разных народов - от Низами до Пушкина, от Шекспира и Данте до Некрасова, Шевченко и Льва Толстого в условиях социалистического строя обогатилась непосредственным участием в созидании нового общества, основанного на идеях свободы, справедливости, равенства и братства народов. Не случайно Маяковский говорил с гордостью:

Я себя
        советским чувствую заводом,
вырабатывающим счастье.

И не случайно Горький обращался к художникам Запада в тревожные тридцатые годы с вопросом: «С кем вы, мастера культуры?» В самой интонации этого вопроса выражалась гражданская позиция великого художника - передовой писатель должен идти в рядах прогрессивных сил против сил реакции, зла, несправедливости.

Азербайджанская советская литература с первых лет своего становления сознавала значительность новых задач, возложенных на художественное слово эпохой, революцией, партией.

Мой стих великим временем рожден,
Дела народа воспевает он, -

провозгласил запевала нашей поэзии Сулейман Рустам.

Я поэт
миллионов,
Пропахших
бензином и серой, -

писал Самед Вургун.

Эти поэтические манифесты сочетались с активным гражданским поведением художников слова, с участием их в переустройстве общественных отношений. Можно сказать, что все наши писатели, помимо художественного творчества, вели конкретную практическую работу по созданию новой культуры, боролись против ее врагов, пережитков прошлого, косных представлений, против маловеров, отравляющих сознание людей. В Азербайджане, где особенно остро стояла проблема духовного раскрепощения женщины, приобщения ее к широкой общественной деятельности, литература сыграла выдающуюся революционную роль в этом благородном процессе. Достаточно вспомнить пьесы основоположника нашей советской драматургии Дж. Джабарлы. Удивительная действенная сила его искусства заключалась в преобразовании художественного факта в факт общественно-политический. На представлениях пьесы «Севиль» многие зрительницы, следуя примеру героини, сбрасывали с себя чадру - ненавистный символ отжившего строя, рабской покорности, мракобесия.

Служение идеалам революции развили в традицию такие выдающиеся художники Азербайджана, как Самед Вургун. В своих произведениях он и его соратники изображали нравственное возрождение и расцвет личности, внутренний рост человека труда в новых исторических условиях.

Лозунг Маяковского «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» получил как бы буквальное осуществление в годы великой победоносной схватки советского народа с германским фашизмом. Многие писатели сражались на фронтах Великой Отечественной войны, помогая штыком и пером приблизить час Победы, немало поэтических строк обрели поистине всенародное звучание, стали клятвой в этой борьбе, символом веры в торжество правого дела.

Символом непобедимости народного духа и нерушимого интернационального братства воспринимается то характерное событие, что в осажденном Ленинграде, под артиллерийским обстрелом был проведен юбилей великого Низами. Как писал один из инициаторов этого необычного торжества Николай Тихонов, Низами стал нашим союзником в борьбе против сил мрака и зла.

В послевоенное время, в наши дни писатели Азербайджана с честью несут имя советского художника, принимая участие во всех народных свершениях.

Активизация гражданской позиции художника, о которой говорилось с трибуны XXV съезда пашей партии, высокая оценка усилий литераторов и деятелей искусств, данная товарищем Леонидом Ильичом Брежневым, находит выражение в пафосе многих талантливых произведений, затрагивающих различные сферы современного бытия советских людей. Эта активизация выражается и в самом образе жизни, личном поведении писателей, в формах их общения с созидающим народом - с нефтяниками, хлопкоробами, виноградарями, студентами, учеными, школьниками.

Ставя перед собой задачу неустанного совершенствования художественного мастерства, сосредотачивая внимание на отражении глубинных жизненных процессов, характерных для нашего общественного развития, вовлекая в литературное движение все новые и новые таланты, писательские организации страны, в том числе, конечно, и азербайджанская, стремятся к максимальной полезности творческих усилий художников слова. У нас имеются образцы писателей нового типа, гармонично сочетающих в себе литературного и общественного деятеля. Остановимся всего лишь на двух крупнейших мастерах, которых мы продолжаем и будем продолжать считать нашими живыми современниками, - я имею в виду талантливейшего поэта Самеда Вургуна и великого композитора, драматурга и публициста Узеира Гаджибекова. Оба они явились

создателями художественных шедевров, относящихся к нашей послереволюционной советской классике, но вместе с тем они были и выдающимися общественными деятелями, свободными от мелких чувств, эгоизма, самодовольства, корысти, они остались в памяти народа как яркие личности, носители социалистической морали, отдавшие себя без остатка служению новому обществу.

Никоим образом не игнорируя растущую консолидацию литературных сил, несомненные заслуги азербайджанских писателей в успешном осуществлении курса республиканской организации, взявшей в центр своего внимания в последний период экономический подъем и нравственное возвышение людей труда, освобождение нашей действительности от всякого рода аморальной скверны, более того, признавая за ними крупный вклад в создание здоровой психологической атмосферы в Азербайджане, я вместе с тем не могу обойти молчанием и встречающиеся еще факты определенных противоречий между мотивами творчества и жизненным поведением и поступками отдельных писателей, недопонимающих, что, бичуя, скажем, протекционизм, нельзя самому исполнять роль протекциониста детей и родственников, что, выступая против накопительства, нельзя самому даже в пределах закона проявлять себя как стяжатель, что, воспевая коллективизм, нельзя всюду преследовать только свои собственные интересы.

Писатели в Азербайджане так же, как и во всех уголках нашего социалистического отечества, находятся на особом положении. Талант - это редкость, как говорил Владимир Ильич Ленин, талант - это национальное достояние, как говорит Леонид Ильич Брежнев, и те знаки внимания, уважения, индивидуальной заботы, которыми писатели одаряются, должны оцениваться с точки зрения возрастающей с каждым прожитым нами днем роли писателя в обществе, а следовательно, и его растущей ответственности перед временем и людьми, ответственности, предусматривающей образцовые моральные нормы поведения каждого из них без исключения.

Тут нет альтернативы, и пусть не звучит грубой игрой слов короткое утверждение - надо иметь моральное право читать людям мораль.

Думается, что тот дух заинтересованности друг в друге, та солнечная погода, которая становится все настойчивей во всей жизнедеятельности на азербайджанской земле, позволит в самом ближайшем будущем говорить об этих - пусть единичных - противоречиях как об уже давно пройденном этапе.

Одной из благотворных форм общения литераторов с читательскими массами стали Дни советской литературы, проводимые в республиках, краях и областях, в крупных масштабах проведенные в Азербайджане в октябре 1975 года. Это, как правило, не только литературные празднества, но и напряженная работа, еще и еще раз способствующая приобщению широких масс к прекрасному, и одновременно еще один путь к познанию писателями героев будущих книг.

За последние годы азербайджанский Союз писателей накопил определенный опыт организационно-творческой работы, направленной к дальнейшему укреплению связей писателей с жизнью народа. Дни поэзии Сабира, Есенина, а теперь и Низами с большим количеством их участников; час революционной поэзии у Мемориала 26-ти бакинских комиссаров, через посредство радио и телевидения доступный всем городам и селам республики, индивидуальные выезды литераторов на заводы, нефтепромыслы, фабрики, новостройки, школы, колхозы - свыше пяти тысяч за год; укрепляющиеся шефские взаимосвязи коммунистов-писателей и коммунистов-рабочих завода бытовых конденсаторов, завода имени лейтенанта Шмидта, завода имени XXII съезда КПСС, с тружениками Бардинского и Имишлинского сельскохозяйственных районов; творческие командировки писателей на ударные стройки страны и нашей республики - БАМ, Тюмень, Арпачайский гидроузел, строительство ШамхорГЭС - все это неразрывные нити, связывающие слово писателя и дело народа, литературу и жизнь. В прошлом и нынешнем годах азербайджанские писатели приняли участие в работе партийно-хозяйственных активов в Таузском, Джалилабадском, Бардинском и Сабирабадском районах республики. Живое, тесное знакомство с положением дел, с работой тонкого

партийного механизма в динамике прямых контактов, хозяйственных забот, изучения психологии людей - это ли не благоприятный материал для творчества, это ли не школа для писателей! Есть основание полагать, что эхо контактов откликнется в будущем и скажется еще в крупных творческих обретениях.

С большим успехом прошли Дни азербайджанской поэзии в Москве, Неделя литературы и искусства на Украине; десятки писателей в трудовых коллективах, среди студентов, в школах участвовали в обсуждении замечательных образцов гуманистической партийной публицистики - книг Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина».

В многообразной, я бы сказал, полифонической работе по нравственному воспитанию трудового человека, в работе, рассчитанной, как стало привычным говорить в экономике, «на длительную перспективу», то есть на поколения, которым доведется жить при коммунизме, художественной литературе принадлежит ничем не заменимая выдающаяся роль.

Как и во всех других братских советских литературах, у нас сейчас просматривается широкая панорама новых произведений в поэзии, прозе и драматургии, произведений, обращенных к острым диалектическим проблемам развития общества, к раскрытию всякого рода моральных уродств, сопровождающих это развитие.

Такая литература в нашем обществе уже получила название «строгой литературы», а поскольку социалистический реализм подразумевает отображение бесконечного многообразия жизни, то их появление, при условии четко выраженной авторской мировоззренческой позиции - во имя чего и ради кого это написано, - в принципе беспокойства вызывать не может.

Тем не менее, выстраиваясь в ряд, эти произведения, вне зависимости от мастерства исполнения, не должны уводить писателей от поиска ведущих тенденций нашей жизни, от героических начал нашего нового бытия, от главного его животворного процесса - утверждения Человека с большой буквы, выявления за мусором мелкого правдоподобия большой высветленной правды искусства, способной нравственно возвысить читателя.

Нет, я вовсе не призываю надеть очки с розовыми стеклами. Сутью литературы была, есть и остается конфликтность, противоборство, столкновение взглядов и страстей, но, будем откровенны, та угрюмая нахмуренность, обилие желчи, инфантильность, порою обрушивающиеся на поклонника стихов, на зрителя театра, кино и телевидения, вряд ли приближают к успешному решению задач нравственного воспитания советского человека.

Думается, что сейчас, в пору нарастающего материального благополучия, с особой силой встает проблема содержания души, духовности трудового человека, особенно молодого. Я уже много раз писал и выступал по этому поводу, поскольку без такого заполнения - прямая дорога в плен потребительства.

В этом смысле надо постоянно, систематически, устремленно брать в поле зрения и, не зная усталости, обстреливать омерзительное неомещанство: на вора, взяточника, хулигана есть управа - закон, на мещанина новой формации, толкующего и о космосе, и о гравитации, и об обратных связях в центральной нервной системе, но остающегося потребителем, приобретателем, идолопоклонником вещи, управы в законе нет, и тут раскрывается оперативный простор для боя, который может и должна дать литература.

Как-то в беседе с крупным итальянским писателем, с Альберто Моравиа, на его вопрос, не боимся ли мы, советские писатели, писать о недостатках, мне довелось ответить, что пыль на стройке неизбежна, но есть существенная разница - возникает ли она от здания, которое разрушается, или от здания строящегося.

Об этом важно помнить всегда, поскольку победа в идеологическом сражении, происходящем сегодня в мире, зависит не только от субъективных писательских рассуждений, но прежде всего от результатов его творчества, от воздействия его произведений на читателя.

Мы живем не только в эпоху экономической интеграции в социалистическом содружестве, но в эпоху интеграции духовной, в пору взаимообогащения культурными

ценностями, имеющего невиданный размах. А это заставляет задуматься и о качестве создаваемой нами литературы, становится проблемой номер один во всем нашем творческом обиходе.

Исповедуя веру в объединение людей в добре, а не во зле, наша советская литература завоевывает симпатии на всех континентах земного шара и достойно выполняет свои функции в борьбе за мир. Наш опыт мирного созидания наглядно демонстрирует духовный расцвет широких масс, который возможен именно в наших социальных условиях и именно при стабилизации мирной обстановки.

Счастлива литература, служащая идеалам нашей великой ленинской партии, и это счастье она познает все больше и больше, с каждым новым шагом в продвижении нашего всенародного корабля к коммунистическим берегам!

Баку, апрель 1979 г.

ФРАНЦУЗСКИЙ ГОБЕЛЕН

Начинать заметки о путешествиях с описания перелета теперь уже стало стандартом до неприличия, но именно тогда, когда в головной части кабины засветилось табло «застегнуть ремни, не курить», а стюардесса еще раз прошла мимо с каким-то подносом, я вновь отвернулся к окну и вдруг увидел Францию: самолет неожиданно вышел из толстого облачного слоя, и она раскрылась внизу в тусклом свете февральского дня - белеющие кубики ферм и причудливые конфигурации городков, сизые дымы заводских корпусов, квадраты полей и темная зелень лесов, шпили церквей и несущиеся по ниточкам дорог черные точки автомобилей, бледно-голубые воды рек, аркады мостов...

Это видение напоминало гобелен, выдержанный в бело-черной гамме, динамично скомпонованный, искусно вышитый гобелен, и хотя потом я видел эту землю с разных углов зрения, в разном цвете и при разном свете, первая точка, видимо, была самой высокой: зимняя Франция навсегда врезалась в память в образе этого большого и красивого гобелена...

Мне довелось быть во Франции в конце зимы нынешнего года всего шестнадцать дней - срок ничтожно малый для того, чтобы понять такую развитую и сложную страну, чтобы разобраться в глубинных процессах ее современной беспокойной жизни: думать, что увидеть - это понять, в данном случае было бы легкомысленным.

И тем не менее я сейчас мысленно вновь и вновь возвращаюсь к своей поездке, и вот почему: я ехал не на совещание или фестиваль, чтобы бросить рассеянный взгляд на Лазурный берег в перерыве между заседаниями и просмотрами, и не по определенным туристским маршрутам, после которых перед глазами мельтешит бешеный монтаж кадров, но нет ощущения, что видел фильм.

У меня была цель, давно не дающая покоя, конкретная, внутренне точно сформулированная задача, во имя которой совершалась поездка, но прежде, чем рассказать о ней, скажу два слова о своих спутниках. В книге назиданий моего народа - не написанной, но существующей многие столетия - есть важный совет: спроси, кто с тобой едет, а потом уже - куда. В этом смысле мне повезло: и старый ленинградский писатель Владимир Дмитриевский, едущий повидать друзей по совместной работе в 20-х годах в Коммунистическом Интернационале Молодежи, о котором он пишет книгу, и Татьяна Кудрявцева - член редакционной коллегии журнала «Иностранная литература», видный переводчик, ориентирующаяся в Париже, как в собственной московской квартире, - оба они оказались товарищами, с которыми можно спокойно ехать и на зимовку на дрейфующей льдине возле полюса.

Впрочем, в нашем товариществе почти неразлучно был еще один человек - представитель агентства печати «Новости» Виктор Смирнов, встретивший нас на аэродроме на своем быстром и юрком «пежо», которого через несколько дней я всерьез просил нас не провожать: уже было ясно, как будет тяжело с ним расставаться.

Ему-то, Смирнову, в течение того получаса, что мы ехали с аэродрома до маленького отеля на авеню Ла-Мотт Пике, где нам предстояло жить, я и поведал о том, что привело меня сюда.

Это было так. Несколько лет назад я лечился в подмосковной больнице и в день, когда меня выписали, зашел попрощаться в соседнюю палату, где лежала неизлечимо больная женщина, кадровый партийный организатор, когда-то работавшая на строительстве Московского метрополитена. В узкой палате на столике возле кровати лежал роман «На дальних берегах», и, зная, что я - один из его авторов, больная поделилась своими впечатлениями от прочитанного, а затем мельком, не придавая особого значения своим словам, заметила, что была лично знакома с девушкой-азербайджанкой Джейран Сафаровой, проходчицей на строительстве первой очереди метро. Джейран потом уехала добровольцем в Испанию, где вскоре погибла. Но вот недавно мне удалось услышать, что в 1944 году гитлеровцы казнили на юге Франции женщину-патриотку, владелицу не то кафе, не то пригородного ресторана, по странной случайности носящего название «Джейран»...

- И ты думаешь, что девушка-метростроевка, участница испанских событий, могла не погибнуть, а оказаться во Франции, а спустя годы сражаться здесь, в Сопротивлении? - перебил Виктор, не отрывая взгляда от шоссе, ныряющего под своды туннеля.

- Я был бы счастлив, если это подтвердится, - признался я. - Прошли годы, писались другие вещи, пьесы, сценарии, публицистика, но эта девушка всегда была со мной. Девушка, понимающая личную ответственность за судьбы мира, выдерживающая тягчайшее испытание на самостоятельность, раскрывающая в гуще мировых событий, кто она есть... Понимаешь?

- Понимаю, - кивнул Виктор.

- Но искать ее будет нелегко. Ой, как нелегко, - пессимистично произнес Дмитриевский с заднего сиденья.

- Понимаю, - быстро согласился я. - Но мне надо слышать ее голос, видеть ее глаза, представить, где, когда, как она жила...

- А пока - это все расплывчато, приблизительно? - прибавил скорость Виктор, не давая обогнать нас желто-синему автобусу.

Я промолчал.

- Ну, постараемся найти, - оптимистично ответила Кудрявцева, тоже сидевшая сзади.

- Что же, пошуруем, - помолчав, заключил Виктор. - Париж.

Действительно, ряды машин стали плотнее, мы въезжали в город.

Клод Моне написал Нотр-Дам в разное время дня: утром, в полдень, в сумерки, вечером, и во всей этой серии собор предстает таинственным и грандиозным.

С Парижем то же самое - он грандиозен и притягателен и днем и ночью.

В чем дело? Откуда эта покоряющая сила? Ведь Париж уступает по масштабам многим столицам мира, есть города гораздо древнее и гораздо комфортабельнее, есть расположенные в гораздо более красивой местности, есть более удобные, более могучего ритма, наконец, намного чище и аккуратнее, так почему все-таки Париж?

Ответов на этот вопрос бесконечное множество - порою настолько диаметрально противоположных ответов, что вспоминается известная притча о судействе Моллы Насреддина, когда он посчитал правыми всех.

Однако думается, что непреходящая величавость Парижа может быть объяснена тем, что каждое последующее время не изгоняло из него предыдущего: в далекую древность вписывалось барокко, в барокко - поздний классицизм, в классицизм - линии современных стилей, причем не в музейной отрешенности, а в попытке именно вписаться друг в друга, совместно продолжая свои функции.

Мы ехали на «пежо» по вечернему Парижу, и каждый новый поворот оказывался новым откровением: ослепительное сияние Елисейских полей сменял полумрак узкой улочки, он переносил нас не из квартала в квартал, а из одного века в другой, если бы не

реальное многоцветие реклам на старых, будто призраки, домах; строгость и простор площади Конкорд уступали место умопомрачительно извилистым и тесным переулкам Монмартра; спокойствие набережных Сены вдруг обращалось в суетливое многолюдие улицы Риволи.

Париж всегда неожидан, он, конечно, прочитывает свои главные мысли, но не монотонно, а многоголосо, и в этом полифоническом чтении очень ярко выражен вкус, изысканность, изящество народа, руками которого он создавался.

Этот народ создал великую литературу, выразил себя в изумительной живописи, дал миру ценнейшие культурные образцы, и, видимо, благодаря всему этому наглядное видение его столицы одновременно связывается с потоком ассоциаций. В первый же вечер в Париже я буквально довел до белого каления Кудрявцеву и Смирнова самыми нелепыми вопросами: - Где застава Сен-Дени? (Это через нее проскакали три мушкетера и один гвардеец, направляясь в Англию за подвесками королевы); -Можно войти во внутренний двор собора? («Вдруг мелькнула уродливая тень Квазимодо...»); - Вот это и есть «Ротонда»? (Переделали, а какова она была, когда в ней сидели Модильяни или Пасхин?); - Пале-Рояль не очень далеко от Лувра? (Ну, конечно, близко, ведь Ришелье нужно было быстро оказаться у Людовика); - «Сида» нигде не играют? (Жерара Филипа хоронили в костюме Сида); - Ох, Бастилия! (Кто только в ней не сидел, да?)...

Обманчивая вещь - заочные представления. Особенно в физических измерениях: Эйфелева башня не очень-то высока, а представлялось, что она поддерживает небо, ресторан «Максим», слезно описанный чуть ли не каждым вторым белоэмигрантом, - небольшое заведение, с выцветшим холщовым козырьком у входа, весь Монмартр не больше бакинской Крепости.

- Вы чем-то озабочены? - спрашивает Кудрявцева.

- Странное ощущение. Стоишь вплотную, а порою будто смотришь в перевернутый бинокль.

Мы сошли возле церкви Мадлен, предварительно изрядно покружив по окрестным улицам, чтобы найти местечко приткнуть машину (очень нелегкая проблема, когда основная масса городских автомобилей, как правило, на ночь вытягивается цепочками вдоль тротуара).

Навстречу двигался поток людей - праздных и деловитых, старых и молодых, веселых, печальных.

Шла группа юных французов - юношей и девушек, шли негры и рослые скандинавы, рядом с намалеванной девицей в дубленке куда-то торопилась такая же молодая строгая монахиня, толстый старик с окладистой бородой шагал почему-то в пробковом шлеме, его перегнал высокий, тонкий, как жердь, мужчина с локонами, падающими на плечи, и в длинной рубахе, перепоясанной обыкновенной веревкой, в трех поколениях - дед и бабушка, дети, внуки - переходила улицу марокканская семья, из черного спортивного «мустанга» вылезала элегантная дама в мехах, а чуть в сторонке какие-то люди с независимым видом раскладывали в каменных нишах домов старые газеты.

- Клошары, - сказал Смирнов.

Им торопиться было некуда: «клошары» - это бездомные, спящие на тротуарах, завернувшись в газеты (бумага меньше пропускает холод).

Впрочем, клошары - почти единственное проявление обнаженной нищеты: здесь жалюзи на окнах испещренного трещинами, скособочившегося, разваливающегося дома зачастую покрашены в благородный цвет слоновой кости. Увы, пиджак в заплатах кричит о бедности громче, чем лохмотья, и это можно ощутить в полную меру, пройдя по неимоверно густо заселенным кварталам: необъятные колонии изобильно заваливали земными плодами этот город, научный гений открывал перед ним неслыханные перспективы, смелый инженерный посыл поднимал его к новым высотам, но извечный контраст света и тени остался, какие бы мягкие тональности переходов он ни искал или ни делал вид, что ищет.

Однако гостя нельзя заставлять печалиться, а я был гостем, а хозяином - наш милый, русский человек, он и предложил:

- Поедем на Монмартр.

Было уже часов десять вечера, февраль - не туристский сезон, и тем не менее мы опять искали местечко для машины. Дул холодный пронизывающий ветер, заиндевел булыжник мостовой, но ярко и весело горели цветные огни кафе и бистро, светились окна мансард, по кривым улочкам ходили бородатые мужчины с длинными кудрями в расписных джемперах и женщины в таких брюках клеш, что им мог позавидовать любой севастопольский моряк, парень в нахлобученной кепке предлагал написать ваш портрет - мольберт его стоял под деревом возле летнего кафе, а скорбная, кашляющая старуха показывала пальцем на стенд с образчиками своей продукции - заплатите пять франков и получите вырезанный ножницами из черной бумаги собственный профиль.

Памятная доска на стене одного из домов объясняла, что русские казаки, войдя в Париж в прошлом веке, в кафе и ресторанах кричали официантам: «Быстро!» Отсюда и пошло название «бистро».

Бистро много: и тесных, с подслеповатыми оконцами, и со свечами, и с изысканными бра, и дешевых, и дорогих.

Заглядываем через окно в одно из них: весь потолок в ассигнациях разных времен и стран - висят, как белье на веревке, франки и доллары, кроны, иены и лиры, рубли, динары. Заведение набито до отказа, за каждым столиком вместо четырех - десять человек, тут же, присев за столик, виртуозно играют два испанских гитариста.

Рядом художественные салоны - обыкновенные лавки с маленькими витринами, сплошь заваленные полотнами, гравюрами, рисунками. Лежат, говорят, годами, редко кто их покупает, но быть здесь выставленным - это уже какое-то признание.

Во имя этого признания голландская девушка работала прямо на тротуаре соседнего переулка над скульптурой из серого гранита. Сделала, а потом не хватило денег увезти с собой. Так скульптура и осталась лежать на тротуаре.

Громадный, подавляющий своими размерами окрестные тесные улочки и крошечные дома, возвышается собор Сакре-Кер. Под высоченными сводами - молящиеся.

Впервые вижу исповедующихся: девушка входит в задрапированную кабину, вскоре в слезах выходит обратно, идет но проходу к пустой скамье, опускается на колени, застывает, обхватив голову руками.

А на лестнице снаружи, спадающей вниз по холму, расположилась шумная компания - девушки в норковых манто, парни в джинсах, худой дядька в рыбацкой робе, корзины с едой, бутылки с вином. Ночной пикник возле дома божьего.

- Сейчас зима, - рассказывает Кудрявцева, - но летом тут надо завоевывать каждый сантиметр с бою. Люди со всех континентов мира, песни и танцы от зари до зари.

Спускаемся вниз, к балюстраде, завершающей лестницу перед церковью.

С холма обозревается широкая панорама Парижа - туман сделал расплывчатыми его огни.

* * *

За окном отеля - кусочек той же панорамы. Напротив - небольшая хирургическая клиника, рядом пятиэтажный жилой дом, внизу кафе с выставленными на тротуар столиками, правее - мост, по нему, громыхая, проносятся поезда метро.

Застыли в неподвижности автомобильные ленты вдоль обеих сторон улицы.

Я перебрал в смысле впечатлений - нельзя так много и сразу. Теперь не снится. Подтаскиваю кресло поближе к окну, сажусь.

Могла ли Джейран Сафарова быть в Париже, оккупированном гитлеровцами? Могла, конечно. Шла поздно ночью с чемоданчиком, в котором лежали листовки «Либерте» или оружие, его надо было передать товарищам по подполью, и как раз здесь, на углу Ла-Мотт Пике, нарвалась на цепь ночной облавы. А до явки два шага - вон окно, из жалюзи которого пробиваются полоски света - условный сигнал, можно зайти.

Кстати, это не окно, а дверь, с невысокой чугунной оградой. Когда-то Наполеону пришла мысль пополнить казну за счет пользования окнами: город тебе не принадлежит, раз смотришь - плати. Но парижане - народ хитрющий, они начали спешно переделывать окна на двери, про которые в императорском повелении ничего не было сказано. С той поры двери вместо окон стали традиционными для фасадов домов - красивее, больше воздуха и света.

Мысли вновь возвращаются - к виденному сегодня.

Мне давно хотелось воочию убедиться, чего добились французские зодчие, став владетелями новых материалов - бетона, стекла, легких металлов, пластиков.

Ведь в Париже жил и творил Корбюзье, отец невиданно смелых конструктивных идей, утверждавших начало новой эры в архитектуре мира.

Эта эра выразилась на земном шаре уже не в «семи чудесах», а, как минимум, в семистах семидесяти семи - в строжайших пропорциях и в простоте Мавзолея Ленина и во взлете телевизионной башни в Останкине, в новациях Нимейера при застройке новой бразильской столицы и в нью-йоркском международном аэропорту Сааринена, в здании ООН, в сотнях других общеизвестных творений.

Корбюзье был фигурой трагической - его главное детище новый Алжир так и остался на кальке, а во французской столице хоть и немало новых зданий и сооружений, но - за вечер как-никак исколесили весь город - не чувствуется господства конструктивных концепций.

Есть целые районы, воздвигнутые заново, но они вне архитектурного пейзажа Парижа, есть здание штаб-квартиры ЮНЕСКО, но оно в контрасте с окружающим ансамблем, есть колоссальный ультрасовременный жилой дом, но ни один из двадцати тысяч его жителей не объяснит, почему его дом должен стоять на бульваре Пастера, а не за городской чертой.

Сегодняшние французские архитекторы выступают во всеоружии мастерства и таланта, они очень изобретательны: два-три броска элемента, традиционная мансарда под крышей, двери вместо окон, несколько чисто декоративных линий, и модерн из стекла и пластика отлично монтируется со своим соседом-классиком.

Нетрудно заметить, что французы не очень-то сильно подвержены гипнозу модерна... Но об этом потом, надо еще осмотреться, и без того представление о виденном вскользь еще может быть чрезмерно субъективным.

Я сижу у окна в кресле, пора спать, а мысли все кружатся по градостроительной орбите. Наверное, потому, что я принадлежу к роду строителей - прадед был строителем, строителями были дед, отец. Или мне хочется кое-что из наблюдаемого в Париже перенести в облик родного Баку? Нет, другое, ведь строителем была Джейран, проходчицей на крупнейшей стройке века, на Московском метро.

Джейран не вслепую вгрызалась буром в породу в темном подземелье, она понимала, что строит.

И успела увидеть такой совершенный конечный результат своего труда, как, скажем, станция «Маяковская».

Останься в живых, кем бы она могла быть на метро бакинском? А может быть, и есть смысл оставить ее в романе живой, вопреки истории? Говорил же Дюма: «Я иногда насилую историю, чтобы родить ей добрых сыновей». Нет, высший смысл жизненного подвига таких, как Джейран, в том, что ее-то давно нет, а люди ищут ее следы... Поздно, поздно, пора спать. Завтра предстоит нелегкий день.

Утром, встретившись в холле гостиницы, выясняем, что из нас троих нормально спала только Кудрявцева - она исколесила полмира, и ей нетрудно сохранять «стереотип», как говорят невропатологи. Даем слово с Дмитриевским, что впредь будем жить размереннее. (Наивные люди, мы еще не предполагали, какие перегрузки ждут нас впереди.)

Уточняем план на сегодня: надо съездить в министерство иностранных дел, поблагодарить за въездные визы, а главное - встреча с Мадлен Брон, директором коммунистического книжного издательства «Эритер франсе рейюни», писательницей, в прошлом видным участником движения Сопротивления.

Идем к метро, а поскольку на этом перекрестке трасса проходит над землей, не спускаемся, а поднимаемся в станцию - в обшарпанное, с серым цементным полом, крутыми лестницами, ангарообразное помещение, со стенами, украшенными пестрыми рекламными объявлениями. Люди на перроне - в большинстве служащие, студенты, домашние хозяйки, школьники - ждут поездов. Попадаются живописные личности - юноша, «работающий» под Иисуса Христа, по-моему обильно прибегающий к женской косметике, опять молодые монахини, шотландец в клетчатой юбке.

У одной из реклам, призывающей покупать редкие антикварные вещи, пожилой человек в очках, в потрепанном плаще с поднятым воротником, пиликает па губной гармошке. Нищенство запрещено, но получать медяки за «исполнение» музыки можно.

Рекламы испещрены надписями углем или цветным карандашом. «Да здравствует революция!» - гласит одна; «Анархия - мать порядка, сказал Бакунин» - другая, несколько непечатных ругательств неизвестно в чей адрес, еще надпись: «Уходите, де Голль!», и тут же: «Де Голль - спасение Франции!»

- Это надписи, сделанные за прошедшую ночь, - тихо говорит Кудрявцева.

- А полиция вновь заняла Сорбонну, - ни на кого не глядя, по-русски произносит стоящая рядом старуха с желтым саквояжем. - А на заводах Рено вновь забастовали...

Не договорив, она идет к подошедшему поезду - его вагоны напоминают наши трамваи тридцатых годов.

Садимся тоже. Мне представляется, что мы едем по побережью бурного политического моря - доносится шум его валов, кипящих, пенных, накатывающихся друг на Друга...

* * *

Мадлен Брон - большеглазая, с платиновым блеском волос, энергичная женщина - приглашает нас удобнее располагаться вокруг ее большого письменного стола.

Скромно, удобно, со вкусом обставленный кабинет. Замечаю на стендах книги Айтматова и Бакланова на французском, портрет Назыма Хикмета.

Входит Пьер Гамарра, с ним мы познакомились еще в Москве. Редакция журнала «Эроп», который он редактирует, находится рядом, в одном коридоре.

Мадлен и Пьер вспоминают годы войны, рассказывают несколько напряженных эпизодов, которые я записываю, - несомненно, потом пригодятся.

Расспрашиваю о позиции духовенства в патриотической борьбе с оккупантами, точнее, мог ли быть в южной провинции прелат или кюре, которого гитлеровцы считали бы своим, а он тайно действовал с сопротивленцами. (После увиденной процедуры исповеди на Монмартре стала вырисовываться острая ситуация с Джейран, которую фашисты посылают на исповедь, надеясь таким образом выудить у нее правду о подполье).

- Были, - кивает Мадлен.

Тонкий литератор, она сразу понимает сюжетные и психологические возможности такой ситуации, помогает обрасти ей живыми деталями.

Подходит момент спросить о главном:

- Вы не знали женщину, участницу Сопротивления, владелицу кафе на юге, расстрелянную в сорок четвертом?

Мадлен морщит лоб.

- Я действовала в самом Париже, - как бы оправдываясь, произносит она.

Мое огорчение настолько заметно, что Мадлен тут же берется за телефон.

- Звоню человеку, который все знает, - поясняет она, говорит по телефону, кладет трубку. - Он ждет вас завтра в одиннадцать. Это генеральный секретарь комитета

ветеранов Сопротивления. Наш, коммунист.

Брон дарит мне на память книгу очерков Лавроша о Сопротивлении, все вместе идем в другую комнату, к Гамарра - он хочет подарить нам по экземпляру журнала «Эроп».

- А где помещается ваша редакция? - спрашиваю у Пьера.

- Вот и вся редакция: директор Пьер Абраам, главный редактор Пьер Гамарра, - кивает он на два заваленных рукописями стола в комнате.

Все еще не веря, верчу в руках толстый номер «Эропа» - этак печатных листов тридцать пять, если не больше. Худощавый очкарик Гамарра сразу становится богатырем из легенды.

Мадлен приглашает нас позавтракать вместе. Минуем переулок, проходной двор, выходим к театру «Водевиль» на улице Монпасье, напротив него кабачок «Королевская пицца» - маленький, с низким потолком, очень живописный и тихий.

В тысячах таких заведений, уютных и непохожих друг на друга, с двенадцати до двух завтракают, а с семи до девяти обедают парижане.

Есть в Париже огромные фешенебельные рестораны, скажем, в отеле «Ритц» или в «Хилтон-отеле», но они...

- Для американских бизнесменов или для скучных дипломатических раутов, - смеется Мадлен.

Нам очень хорошо в «Королевской пицце»: застольная непринужденность, наслаждение едой, расхваливание национальных блюд, тонкость приправ, - напрашивается прямая аналогия с Азербайджаном, разве что французы не произносят длинных и цветистых тостов.

Кстати, и наша спутница, и другие писатели, и многие люди, не имеющие отношения к литературе, с которыми мы встречались во Франции, отлично знают Азербайджан, вернее, Баку.

Мы привыкли к собственной славе - к страницам, которые вписали в историю революции, к сознательной доблести бакинского рабочего, к самоотверженности сынов и дочерей нашего народа в войне, к взлетам нашей культуры, но эта слава как бы прослушивается заново, когда отзвуки ее слышишь вдали от своей земли.

Нефти добывают теперь на земном шаре столько, что добываемая в Баку - кофейная чашка перед ведром, но «Баку, петроле» - слова магические и для выдающегося ученого, и для парикмахера.

Почему все-таки? В силу того, что Баку был первым сказочным нефтяным Клондайком, привлекавшим взоры далеких стран? Отчасти да. Или потому, что и в этих странах знают: во имя победы над ужасающим злом в истории человечества - гитлеризмом - из каждой тысячи советских самолетов и танков семьсот шли в бой на бакинском горючем? Да, конечно. Но есть и главные, современные причины неизбывного интереса к нам: изумляет, ошеломляет, восхищает то, что содеяно бакинцами в море (фотоснимки Нефтяных Камней продолжают помещать десятки различных изданий, а тот факт, что я имею отношение к фильмам «Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители моря», служил своеобразной визитной карточкой не только в столице, но и в рыбачьем городке Сэте на юге); продолжает шириться молва о несравненном качестве бакинской нефти; наконец, внимание всего света приковано к космическим полетам, а при этих полетах надо поднимать вверх корабли, а кораблям нужно первоклассное горючее и масла, и здесь опять встает проблема качества нефти и мастерства ее переработки. В общем, мир заселен не простаками, а средства информации теперь очень мощны.

Французы отлично понимают, что за этим постоянным подвижничеством стоит образ бакинского рабочего, великолепный тип трудового человека новой формации. В. Познер, побывавший в Баку, опубликовал книгу, одна из глав ее посвящена нашему старейшему нефтянику Гюльбале Алиеву: «Живая история и живой пример возможностей мирового рабочего класса».

Гамарра, принимавший участие в подготовке номера журнала «Произведения и мнения», представлявшего сегодняшнюю азербайджанскую литературу, высоко

оценивал помещенную в номере прозу и поэзию, но сожалел, что в них мало показаны бакинские рабочие.

Это не в бровь, а в глаз - еще мало, очень мало воспели мы того удивительного современника, который рядом с нами, даже здесь, в кабачке напротив театра «Водевиль».

Внутрь входят две женщины - одна в брюках и коротко, по-мужски подстриженная, - зовут официанта, проверяют счета у стойки, затем любезно справляются, довольны ли мы завтраком.

Понимаю, что это хозяйки заведения, но не понимаю мимолетной усмешки Мадлен и нескольких слов, быстро сказанных ею Кудрявцевой. Ладно, узнаю после.

Прощаемся. Дмитриевскому надо ехать к его друзьям, мы с Кудрявцевой решаем заполнить образовавшееся окно до визита в министерство иностранных дел и побывать в Лувре и у импрессионистов.

* * *

Париж был и остается средоточием Непреходящих духовных ценностей, и мы сознаем, что промчаться галопом по его музеям и галереям - все равно что и вовсе туда не ходить.

Вырабатываем разумный план по принципу - пусть меньше, но обстоятельней. Правда, и в этот, и в последующие дни нам удалось подчинить разуму только часть плана: разбегаются глаза, волнуешься, не находишь воли удержаться, чтобы не взглянуть на то, что раньше заведомо исключал.

О богатствах Лувра или о мощи Родена написано так много и такими авторитетами, что я не рискну добавить к ним хоть две строки. Могу подтвердить только одну истину, относящуюся к той категории истин, которые не тускнеют от повторения.

Может быть, в будущем и появится какое-нибудь электронное чудо, позволяющее не просто размножать произведения живописи или скульптуры, а повторять их душу, плоть и кровь, может быть, но пока Ника Самофракийская, доводящая до восторженного спазма, богиня Победы, в единственной своей крылатой неповторимости стоит там, на площадке широкой лестницы Лувра.

В миллионах фотографий, тысячах репродукций, сотнях искусных копий шествует по всем континентам Джоконда, - но она там, в полутемном зале, со светильником над головой и высвеченная снизу, затаившая не в губах, а где-то в глубине груди всепонимающую, лукавую улыбку.

И там, вблизи Лувра, в саду перед домом Родена, омываемый дождями и прогреваемый солнцем, сидит вечно живой Мыслитель.

В каждом из небольших салонов у импрессионистов надо пробыть от зари до зари, но достаточно только взглянуть на оригинал «После купания» Дега или на ту же серию Моне «Нотр-Дам», чтобы не мозгом, а сердцем почувствовать, какие горизонты способен открыть свет и как беспределен горизонт растянутого мгновения.

Эти ценности, ставшие вечными, отразили целые эпохи, но время - это движение, на смену одному приходит другое, ныне художники ищут новые средства, чтобы отразить двадцатый век, а точнее, его вторую половину, и этому поиску посвящен Музей нового искусства.

Здесь собраны работы, невольно заставляющие вспомнить пророчество Флобера: «С каждым днем искусство станет все научнее, а наука - художественнее. Разойдясь у основания, они встретятся на вершине, и каким солнцем засияют будущие творения, мысль человеческая предвидеть не в силах».

Поиск этого солнца идет по разным дорогам - через обострение и причудливость форм, через смещение привычных пропорций, привлечение самых разных материалов, использование новой техники. И это вызывает жгучий интерес до тех пор, пока не переходит в ржавые, неопрятные пятна, долженствующие быть принятыми за пейзаж, и в груду металлического лома, зовущего принять его за девушку, собирающую весенние цветы...

Тут тщетно искать не только солнце, но и свечу. Тут - мрак.

О том, что проглядывается через этот зловещий мрак, я потом откровенно говорил некоторым писателям и литераторам, но это было потом, а в вечер второго парижского дня нам предстоял еще визит во внушительного вида здание на Кэ д’Орсе - в центр французской дипломатии.

Въезжаем во внутренний двор, на первом этаже - комендатура, но без окошечек: несколько столов, за одним из которых заполняем коротенькие анкеты.

Поднимаемся на лифте, на площадке - еще один комендантский пост. Нас просят подождать. Ждем довольно долго, и вот в конце коридора появляется невысокая молодая женщина с прядью, спадающей на лоб.

- Вы не к мадам Ланшон?

Нам именно к ней, к руководителю департамента культуры министерства.

- Прошу.

Идем вслед за женщиной, она открывает дверь одной из комнат, садится за стол, придвигает ближе блокнот.

- Слушаю вас.

Только сейчас догадываемся, что это и есть сама мадам.

Прием проходит дружелюбно, вежливо, оперативно.

Благодарим за визы, излагаем цель приезда.

Мадам Ланшон расспрашивает о Баку (опять магическое Баку, петроле...). Она слышала, что осенью к ним собирается наш балет, выясняет программу поездки по стране, просит быть осторожными - небывалая зима во Франции, на дорогах «вергля» - гололед. Она очень быстра и деловита.

- По приезде обязательно повидайтесь с Анри Мишелем, руководителем Института по изучению второй мировой войны. (Звонок по телефону.) Он ждет вашего звонка и готов оказать любую помощь.

Недавно встречались с Мальро в Азербайджане? (Звонок по телефону.) Министра нет в Париже, но ему немедленно доложат о гостях, а кроме того, начальник протокола министра будет счастлив оказать гостям любую услугу.

Примерный маршрут: Лион - Авиньон - Ним - Родез - Ментона? (Звонок по телефону.) Местные власти будут оповещены о вашем прибытии.

Повестка исчерпана, отдаем обратно анкеты в комендатуру, оказываемся на улице.

- Нет критических замечаний? - спрашивает Дмитриевский, прикрывая лацканом пальто зажигалку, чтобы прикурить.

- Гостеприимность, любезность, точность, - резюмирую я.

- И еще? - щурится Кудрявцева.

И тут обнаруживается, что мы все трое во власти одного ощущения: никаких противоречий; но мы сидели разделенные не узким столом, а мирами, которые представляем. Зеркально гладко текла наша беседа, но мы были гостями на приеме.

И невольно подумалось о той великой идее, счастье принадлежать к которой рождает другое счастье - жить на разных меридианах, быть разделенными государственными границами, разговаривать на разных языках, но, встретившись, чувствовать себя членами одной семьи - будь это на безлюдном острове или в блистательнейшей, кипящей, как котел, европейской столице.

* * *

А Париж ни с чем другим, как с бурлящим котлом, и не сравнить: металл его стенок еще выдерживает давление изнутри, но крышка с грохотом слетает чуть ли не ежеминутно.

С наступлением темноты на мощенные серым булыжником улицы ложатся бесконечные желто-красные движущиеся автомобильные ленты, озаряются бесчисленные витрины, дома одеваются в радужные световые одежды - город

становится похожим на роскошную декорацию. (Художники-декораторы зданий, контор, кафе, ресторанов, витрин - одна из самых высокооплачиваемых профессий в Париже).

Вечерние газеты, телевидение, радио обрушивают на эту декорацию последние новости чрезвычайной важности: «Джеки и Онассис спят в разных комнатах!», «Знаменитый шансонье Холидей в полицейском участке!», «Дом Риччи предлагает девятнадцать новых весенних моделей!»

Сквозь частокол этих сенсаций, иногда вступая в совсем неравное единоборство, слышны другие: испытание автомашины на воздушной подушке; идея строить города под синтетическими куполами, позволяющими регулировать погоду и климат; выпуск общедоступной энциклопедии «Миллион»; обнадеживающие эксперименты врачей в схватке с лейкемией.

Шум этих новостей перекрывает уже шквальный рокот: напряженно, в столкновениях проходят выборы студенческих общественных комитетов; снова хаос в Латинском квартале; коммунисты зовут препятствовать проекту нового административного деления страны; опасность в майских событиях, грозившая слева, становится опасностью справа.

Собственно, это не одна пресса, непредвиденные компоненты включаются в световую декорацию Парижа: с воем проносятся черно-полосатые полицейские машины; срочно асфальтируются булыжные мостовые вокруг Сорбонны - выдернутый из земли булыжник становится грозным оружием; на перекрестках большие группы ажанов в длинных блестящих плащах.

На гребне политических волн находятся современные писатели.

Еще дома мы слышали о создании нового Союза писателей Франции и, естественно, попробовали выяснить, какую лепту собирается внести этот союз в объединение мировых прогрессивных литературных сил, какова перспектива контактов его с нашим союзом.

В один из вечеров мы поехали на очередное заседание этой организации. В полутемной, наполовину заполненной аудитории института происходила встреча с лауреатом Нобелевской премии Жакобом - это очень напоминало совместные собрания наших писателей с учеными, касающиеся «смежных проблем», одинаково интересующих ученых и литераторов.

Союз возник в грозные майские дни как протест против бездеятельности старой Ассоциации французских писателей, в составе его руководства такие писатели, как Сартр, Пэнго, Саррот, Фай, знакомый нам по приезду в Баку профессор Сорбонны, критик и переводчик Робель.

Тем не менее цели и задачи организации еще очень туманны, а политические убеждения ее членов напоминают надписи, увиденные нами на стенах метро.

При наличии этого союза продолжает существовать и старая ассоциация, есть французское отделение европейского ПЕН-клуба, есть национальный комитет французских писателей, созданный после победы над фашизмом.

Единой же организации, могущей сказать о том, что она представляет сегодняшнюю французскую литературу, нет.

* * *

Фурнье-Бокэ усаживает нас в своем рабочем кабинете в комитете ветеранов Сопротивления, предлагает нам сигареты с черным табаком, от которых прерывается дыхание, сам закуривает кривую трубку.

Он изучает нас серыми внимательными глазами, потирая гладко выбритый подбородок, чуть откинув назад лысеющую голову.

У прославленного партизанского командира удивительная способность несколькими скупыми мазками воссоздавать сложнейшие картины.

Фурнье-Бокэ, изредка поворачиваясь к карте, предупреждает, что тщетно искать в движении Сопротивления во Франции прямых параллелей с партизанским движением

на Украине или в Белоруссии. Силы Народного фронта действовали почти по всей Франции - особенно на юге, в лесах. Патриоты нападали на колонны немцев - таков основной источник вооружения. Портили дороги, связь, громили склады - таковы основные диверсионные акты. Расклеивали прокламации, воззвания, распространяли листовки, литературу - таковы основные черты агитационной работы. Военные действия главным образом относились к 1944 году, когда, оставив роммелевский атлантический вал, гитлеровцы пытались воссоединиться со своими частями на юге и вдоль швейцарской, германской, испанской, итальянской границ.

- Откуда приходили советские люди в ряды Сопротивления? - подвигаюсь я к своей теме.

- Из лагерей военнопленных, переброшенных на строительство оборонительных сооружений на севере Франции, из лагерей в соседних странах.

- Женщины?

- Были, - не задумываясь отвечает Фурнье-Бокэ.

- Азербайджанка, возможно, под французской фамилией, в ее ресторанчике были явка и склад оружия... Ее казнили...

Долгая пауза.

Фурнье-Бокэ потирает подбородок.

- Что-то такое определенно было, - наконец говорит он. - К сожалению, история нашей борьбы никак не систематизирована, архивы разрознены. Лучше всего встретиться с людьми: вот в Ниме с Габриэлем Марта и с доктором Коломбом, в Родезе - с Раймондой Капю, а в Париже - с Мажиссом, с писателями-сопротивленцами.

Мы уже встречались с тремя, - кроме Брон и Гамарра, у нас была беседа и с Познером, приходившим к нам в отель.

Что ж, пока ничего конкретного о Джейран не сказал и этот знаменитый макизар, но мы благодарим его не только за уделенное нам время, - выпукло обрисованные у карты, живой плотью обросли еще несколько возможных эпизодов для будущего романа, отыскалось еще несколько деталей.

Время поджимает нас, приходится жалеть, что в сутках не тридцать часов. Одна встреча следует за другой - втроем, в отдельности, - с писателями Ивом Гандоном, Робелем, Стилем, Клавелем, в ЦК Французской компартии. Настоятельно требуют своего разрешения вопросы европейского сотрудничества писателей, планы издания книг, работа литературных международных организаций.

Вновь и вновь беседуем, отстаиваем свою точку зрения, свои позиции.

Среди всех этих дел созваниваемся по телефону, садимся в метро... и вот уже поднимаемся по убогой лестнице старого дома, входим прямо с лестничной площадки в кухню, пересеченную железной трубой от жарко натопленной печки с каменным углем.

Это квартира Мориса Мажисса - старого комбатана макизаров, ныне букиниста, содержащего книжную лавку и «развал» на набережной Сены, где он торгует в очередь с сыном.

Вот и сам Мажисс - колоритный, темпераментный, в шерстяном свитере и подтяжках, 79-летний старик.

В доме готовится торжество - сыну Жан-Жаку сегодня сорок лет, жена и невестка носятся по квартире: то звонок по телефону, то рассыльный принес картонный ящик, то из старого буфета надо вынуть посуду.

Но Мориса с ними нет: с той минуты, как мы вошли, он весь в прошлом, вблизи Невера, в краю лесов и озер, окруженный славными парнями - сражающимися, умирающими, надеющимися.

- Марианне было плохо, ее придавил каблук гитлеровского сапога, и они это понимали, судари мои, - говорит Мажисс. - Я собрал их под крону старого дуба и сказал, что, когда было плохо, наши предки собирались под дубом с желудями. Самый большой враг человека - его страх, а причина страха - одиночество. Но мы не одиноки, нас много.

- А сколько вас было?

- Вначале около ста. Но наутро я обнаружил, что осталось около десяти. Где остальные? Ушли ночевать домой, у них же дома жены, объяснили мне. Я не мог даже плюнуть, высохла слюна во рту. Однако к полудню вижу - возвращаются мои ребята, прихватив с собой еще сто человек - тех, кто мог бы потенциально заменить женам мужей в их отсутствие. Не смейтесь, судари, в войне надо иметь защищенный тыл!

Старик отпивает глоток жасминного чая, отмахивается от Люсиль, жены, просящей его не волноваться.

- Не волноваться, вспоминая об этом? - пожимает плечами Мажисс. - У меня в голове книга «Великие дни одной жизни»... Да, да. У нас не было оружия - мы напали на немецкую колонну, получили его. У нас не было врача - он сам пришел к нам. У нас не было продовольствия - мы налетали на обозы немцев, доставали продукты себе, да и жителей окрестных деревень и ферм Не забывали. Когда мы стали похожими на военное соединение, я устроил тайное голосование по выборам командира. Они снова выбрали меня. И мы били гитлеровцев! Наш хозяин расходится все больше и больше.

- Со мной был мой сын Жан-Жак, ему было тогда пятнадцать, а сегодня сорок. Я назвал его в честь Руссо, а младшего - Дени, в память о Дидро. Люсиль была нашей связной. Да, судари, это были дни. Мы нападали на гитлеровские части на марше, вскоре у нас уже было три грузовика и шесть легковых автомобилей. Мы нападали на военных инкассаторов, а реквизированные боны передавали населению, добывали для них продовольственные карточки.

Ага, деньги и карточки могли быть сосредоточены в подвале ресторанчика «Джейран»; наверху - подобие забегаловки, а внизу - что-то вроде банка.

Будто разгадав мои мысли, Мажисс кричит:

- У нас были тайные базы, где копилось оружие. Потом мы перебрасывали его в лес.

- На грузовиках? - я продолжаю думать о своем.

- Чаще всего на телегах, в соломе, - уточняет Мажисс. - Мы затевали схватки, брали пленных. Помню, трех немцев привели. Механика, медбрата и повара. «Мы - антифашисты», - заявили они. Так мы повели их через строй с этим заявлением: через каждые десять шагов они кричали: «Мы антифашисты!» Это было как клятва, и они ее сдержали.

- Женщин не помните? - подтягиваю я старика ближе к своей теме.

- Я могу забыть Лиззет Лебурно? Начальника нашей информации?! - вскакивает Мажисс. - Пишите о ней. О женщине-невидимке, женщине безрассудной отваги! Я знал ее с детства...

Он, жестикулируя, рассказывает о Лиззет, и я чувствую, что, приблизившись, вновь отдаляюсь от Джейран. Ясно, что Мажисс ничего конкретного о ней не сообщит.

- Пишите, - кричит он. - В двенадцать лет я написал сочинение «Параллелограмм сил»!... Я был шахтером, монтажником, обмерщиком, офицером артиллерии в первую мировую войну. Но великие дни жизни - это в Невере, в лесу... У нас был трубач, он звал под дуб...

Сложив руки рупором, Мажисс на всю кухню оглушительно трубит сбор.

- Оставайтесь с нами на обед, - приглашает Люсиль.

Мы хотели бы, но не можем.

- Вы сделали ему хороший подарок, - говорит Люсиль, выходя с нами на лестничную площадку.

- Что вы, мелочь, - бормочу я, полагая, что речь идет о пластинке и подборке с видами Баку.

- Для него нет ничего дороже, чем уйти в те дни... И для меня, кстати, тоже, - поясняет она.

Я целую ее морщинистую руку. Добрая старая женщина, боевая подруга отважного макизара, у нее дети, внуки, а впереди только заботы свести концы с концами.

* * *

Через несколько часов после посещения министерства на Кэ д’Орсе мы вновь получили свидетельство обязательности мадам Ланшон. Портье гостиницы, вручая ключи от комнат, прочел нам целый список ее сообщений: министру культуры доложено, до его приезда нас просят посетить театры, выставки, кино (для начала посылаются три билета в «Олимпию»), о нашей поездке оповещены префектуры и мэрии; просьба еще раз быть осторожными - «вергля».

Мы, конечно, весьма положительно отнеслись к возможности окунуться в жизнь сегодняшнего французского искусства, хотя те отрывки, что нам предстояло видеть, - это снять кепку и раскланяться, а не познакомиться.

Тем не менее ощутить главенствующие тенденции этой жизни - можно.

Замечательный национальный театр Франции - «Комеди Франсез» - продолжает оставаться домом Мольера, домом глубокой мысли и искрометной, виртуозной формы, но на его подмостки редко выходят современные авторы.

Театра в нашем понимании - сплавленного общим видением сценического искусства коллектива актеров, режиссеров, администрации, вспомогательных групп, имеющего постоянное театральное помещение, разнообразный репертуар, конвейер подготовки новых спектаклей, - во Франции, за исключением нескольких академий, до последнего времени фактически не было. В большинстве случаев режиссер и труппа актеров находили пьесу и предпринимателя, он снимал помещение, и они «прокручивали» постановку, пока та вертелась, то есть приносила доход.

Сейчас принимаются меры к стабилизации, к созданию постоянных творческих коллективов - новый городской театр, театр в рабочем предместье Обервилье (там с большим успехом идут пьесы Артюра Адамова).

Тем не менее слова «Олимпия», «Боббино», «Водевиль» - означают здание: сегодня показывают одноактный балет на спортивную тему - очень красивый, с оригинальной хореографией, этакий гимн человеческому телу; завтра выступает певец Иван Ребров с диапазоном голоса от лирического тенора до баса.

Показать современника на сцене или на экране - это прежде всего иметь драматическую литературу. Эта литература становится социальнее и политичнее, она стала обращаться к древним образцам, но все-таки она продолжает либо отмахиваться от современника, либо становится рентгенаппаратом, изыскивающим в нем отклонение от нормы: заставить человека сидеть и мычать в бочке- это не только святотатство над искусством сцены, это плевок в лицо тому, кто сидит в зале.

Одиноким, загнанным в угол, больным предстает сегодняшний человек из литературы этого рода, - подчиняясь власти подсознательных побуждений, он обнажает страшное душевное уродство: насилует, грабит, убивает, сходит с ума. Мы были с Кудрявцевой и американской четой, нашедшей вторую родину во Франции, спасаясь от преследований во времена разгула маккартизма, - сценаристом Ли Голдом, сотрудничающим с Олдриджем, и романисткой Тамар Хови (ее роман будет в этом году печататься в журнале «Иностранная литература») - на премьере фильма «Бассейн» с Аленом Делоном в главной роли.

Интерес к премьере подогревался еще и тем, что на днях был загадочно убит телохранитель Делона югослав Маркович, а пресса делала из этого дополнительную рекламу для артиста: подступы к кинотеатру «Бальзак» были заполнены тысячной толпой.

Что же фильм? На протяжении получаса Делон и его временная, на летний сезон, любовница приоткрывают

перед зрителем интимные стороны своего сожительства на уединенной вилле с бассейном, затем четверть часа Делон с сосредоточенным видом топит в бассейне близкого друга, композитора, пробовавшего втиснуться третьим в это сожительство, а все остальное время - следствие и разоблачение Делона.

Мы ехали домой в машине и молчали.

- Наверное, это сделано с мыслью, что в доброте человек остается один, а во зле - объединяется, - робко сказал я, пробуя искать подтексты фильма.

- Вы слишком многого хотите, - хмуро ответил Ли, отворачивая влево, чтобы в нас не врезался красный спортивный «ситроен».

- Одна мысль: показать, как надо топить, - убежденно сказала Кудрявцева.

Даже Большие Бульвары - Итальянский, Капуцинов, Османа, - по которым мы ползли в потоке машин, - красочные, сияющие, нарядные - показались мне тусклыми и безрадостными.

Наивно думать, что больное общество способно породить большое жизнеутверждающее искусство, да и вообще пути искусства сложны: «Пышка» может звать к гордому патриотизму властнее, чем протокольное описание победной битвы на Иене, а катарсис трагедии возвышает душу больше, чем плакат.

Наивно думать, что познания человечества, за последние десятилетия превосходящие познания, приобретенные им за много столетий, не могут не отразиться на поисках искусства, стремящегося выразить свое время.

Однако каким стремлением обуреваем пресловутый театр «абсурда» или структуралисты, уже относящие родившийся вчера экзистенциализм чуть ли не к каменному веку?

Каково конечное, высшее назначение творений антиромана или геометрических фигур в стихотворении, продуктов экрана или сцены, амплитуда которых - между двумя точками: «секс» или «ужасы»?

Вот идут люди по тротуарам улиц оживленнейшей европейской столицы. В их трудный век, с его скоростями и проблемами, с заботой о детях и о будущем планеты, о их усталостью, болью и тревогами, - кому из них это искусство помогло обрести мужество, стать мудрее, быть добрее?

Французы одобрительно встретили весть об открытии памятника вымышленному герою Сименона, инспектору Мегрэ, не потому, что Мегрэ хорошо стрелял, а потому, что он дрался за справедливость. Можно быть уверенным, что их не станет заботить посмертная слава королев стриптиза из кабаре «Серая лошадь».

В Париже множество зрелищ типа этого кабаре (в нем, как и в Мулен-Руже, еще отчетлива попытка избегнуть откровенной порнографии). Но есть вещи предельно обнаженные: дешевая демонстрация непристойностей с зазывалами у входа, пресловутая улица Пигаль, где за рулем автомобиля дива с твердой таксой ждет мужчину, и, наоборот, верзила ждет, когда его прихватит напрокат какая-нибудь старая заокеанская туристка, светятся бра в кафе гомосексуалистов, черт знает что еще.

Между прочим, те две женщины (одна - в мужской одежде), владелицы кабачка «Королевская пицца», оказывается, лесбиянки.

В Париже - ничто не удивительно. Однако удивительное есть: все эти злачные уголки - индустрия туризма, испытанные инструменты выкачки денег с иноземцев; к тому французу, которого можно назвать трудовым, это имеет более чем двоюродное отношение.

Трудовой француз - в труде, в семье, в общественных хлопотах.

От молвы, особенно если она подкреплена печатным словом, иногда трудно отделаться. Не помню уж кто, кажется, Образцов писал, что молва приписала англичанам молчаливость и хмурость, но он нигде не видел так много людей, смеющихся по любому поводу и без всякого повода, как в Лондоне.

Слово парижанин (особенно - парижанка) стало слишком близко соседствовать со словами беззаботность и легкомыслие. Это ложное соседство. Острословие, жизнелюбие - да. Серьезность - тоже да. Трижды.

Неподалеку от нашей гостиницы расположена лавка мелочей - табак, открытки, зажигалки.

Покупая сигареты, мы всегда заставали всклокоченного продавца, виртуозно щелкавшего на счетах, - торговля идет трудно, в бюджете приходится учитывать каждый франк.

Увы, настоятельно стучится в дверь необходимость произвести тщательный подсчет бюджета от туризма и американского тезиса «взаимопроникновения» культур: на одну

чашу весов положить доллары, на другую -экспортный и собственного производства вред.

Прибыли не сбалансируют этот вред, и серьезность французов вряд ли может примириться с таким балансом.

Далеко за полночь мы выбрались к знаменитому «чреву Парижа» - к рынку, доживающему последние дни. Сюда подтягивались караваны контейнеров и рефрижераторов, в складах висели тысячи туш бычков, свиней и овец, на тротуарах громоздились штабеля ящиков и коробок с овощами и фруктами, к торговым рядам начали подъезжать грузовики с дарами моря - рыбой, креветками, улитками.

Сквозь эту суматоху к открытому до утра ресторанчику продвигалась цепочка поблескивающих лаком и никелем роскошных лимузинов.

Это к «Опье де Кошон» - ресторану «У свиных ножек» - приближалась аристократическая компания, чтобы луковым супом завершить ночные развлечения.

Это своего рода острое ощущение: в вечерних платьях, отделанных жемчугами и драгоценными камнями, в смокингах или фраках усесться за столами с усталыми мясниками и грузчиками - они тоже так устали, такой длинный спектакль, а потом такой долгий прием по случаю бракосочетания... Их-то устраивает сложившееся соотношение вещей, но вон того старого раздельщика рыбы в промасленном халате, его тоже?

Интересно, привозили ли сюда петлюровцы гитлеровских генералов и офицеров?

«Чрево» - то пустовало, но изыскать для полного удовлетворения господ луковый суп или свиные ножки - плевое ведь дело.

Вот, шурша шинами по булыжнику, подкатывает еще машина. Четверо американцев с переводчицей. Веселые, возбужденные. Может быть, удачно продали телевидению еще серию фильмов об американском Бонде - видели мы один, в нем столько стреляют и столько проламывают черепов, что к концу у зрителей начинается нервный тик.

Для них быстро освобождается столик.

Доводилось ли бывать здесь моей Джейран? Передавать тайную почту или медикаменты кому-нибудь из здешних рабочих. Предположим, вот этому тучному пожилому грузчику, извлекающему из контейнера ящики со свеклой. Он тогда был, наверное, стройным юношей. Что, если подойти и порасспросить? Но с таким же успехом можно подойти к сотням тысяч людей этого города! Нет, нет, надо ехать. Скорее ехать по тем дорогам, где могли остаться зримые следы...

* * *

Странно для советского человека, но привычно для француза - за проезд по дороге надо платить.

Ранним утром, когда Париж был окутан сиреневой туманной дымкой, экипаж темно-красного четырехколесного корабля в составе Смирнова, Кудрявцевой и меня подплыл к железной аркаде, пересекающей шоссе, и получил из окошечка стеклянной будки узкий картонный бланк.

Через пять-шесть часов этот же экипаж предъявил бланк в окошечко другой аркады, заплатил названную оттуда сумму денег и приблизился к Лиону.

Автомобиль действительно не катится, а стремительно плывет по этому великолепному «оторуту» - отшлифованному шоссе с двумя и даже тремя линиями движения в каждую сторону, разделенному посередине невысоким бетонным барьером.

Стрелка спидометра на таком «оторуте» держится на цифрах 160-170 даже на тяжелых грузовиках. С чуть меньшей, но тоже бешеной скоростью ездят и на других дорогах: государственных, департаментских, дорогах коммун. Разделенные на четыре типа, все они хороши: несется впереди грузовик, вдруг его водитель ощущает легкий толчок, останавливает машину, выбрасывает на трещину или ямку флажок на резиновой приставке; через час-другой проедут дорожные смотрители, увидят флажок - с ходу забетонируют или заасфальтируют ямку.

В Лионе - беспорядочном и, несмотря на выглянувшее из-за облаков солнце, угрюмо нахмурившемся городе - мы все-таки опаздываем к часу завтрака.

Колесим по набережной, широким и узким улицам, наконец находим ресторанчик, хозяева которого берутся нас накормить.

В зале, стилизованном под испанскую таверну, кроме нас и хозяйской семьи, сидящей с детьми за столом с кастрюлями и сковородками (остатки приготовленной еды для клиентов), всего еще одна пара - пьющие фруктовый сок и исступленно целующиеся парень и девушка.

Мы просим соль и горчицу, парень, выскользнув из объятий подруги, с блаженной улыбкой приносит нам судок. Он - старший сын хозяина, работает от зари до зари, до полного изнеможения, остается всего лишь часовой перерыв на любовь. Молодые люди спешат рационально использовать этот час, они снова осыпают друг друга дождем поцелуев, остальные члены семьи даже не удостаивают их взглядом.

Торопливо допиваем кофе, до наступления темноты надо добраться до Нима, а мы не знаем, какая погода еще ждет нас впереди - нынешняя зима во Франции необычайно сурова.

Кстати, самые древние долгожители не помнят такой зимы и в Баку, - ведь хвалились, что у нас триста солнечных дней в году, а вот с октября не насчитываем и тридцати.

Подумал о Баку при выезде из Лиона, а на ловца и зверь бежит: как по мановению жезла, справа возникают до боли знакомые силуэты резервуаров, переплетения труб, контуры нефтеперерабатывающих установок.

Это заводы «ЭЛФ» - национального института нефти и газа, эти три буквы мы прочтем в пути еще много раз на заправочных станциях. Рядом с установками - здание института, будто сложенное из стеклянных кубиков, отлично просматривающееся со всех сторон.

Небо становится ниже, темнее, начинает падать снег.

За окном - гобелен, изображающий поля, леса, на заиндевелых ветвях висят черные корзины. Птичьи гнезда, что ли? Нет, это наросты болезни, охватившей, как раковая опухоль, леса этой зоны.

Преодолеваем очень трудный участок дороги. Вот оно, первое знакомство с «вергля», о котором нас столько предупреждали: свалившийся в канаву длинный грузовик - продуктовый контейнер, направлявшийся с овощами в столицу. Потеряв управление, грузовик снес с шоссе и подмял под себя два легковых автомобиля. Из-под обломков ажаны и санитары извлекают труп женщины.

- Умно сделал, что поехал с вами. Потом мучила бы совесть, а тут погибнем все вместе, - очень бодро произносит Смирнов.

Но до относительно сносной погоды, а потом до Авиньона мы доезжаем благополучно.

Авиньон очаровывает своей живописностью: машина движется в узкой расщелине, образованной высокими, преклонного возраста домами, небо закрывают нависающие над головой террасы и балконы, внизу - маленькие, но роскошные, не уступающие парижским, витрины магазинов. Церкви, памятники, мемориалы звучат, как прелюдия к папскому дворцу, расположенному на крутом берегу Роны, через которую перекинут длинный, массивный мост.

Резные ворота главного дворцового здания выходят на площадь, окруженную толстой каменной стеной, - все сооружения комплекса носят выраженный военный характер. Отсюда, из Авиньона, велись ожесточенные папские войны.

Задерживаю внимание на стенах - они сложены из известняка, похожего на наш туф, а безупречность так называемой белой кладки, без единого шва, напоминает изумительное искусство старых бакинских каменщиков с Нагорного плато.

Фотографируемся на фоне ворот дворца, на истертых веками ступенях лестницы, ведущей в парк.

Представляю, что тут творится в туристский сезон - к площади, наверное, и не пробьешься.

Мы вообще уже находимся на пересечении традиционных туристских дорог: шоссе в Ним густо обсажено отелями и мотелями, закусочными и заправочными, виллами, пансионатами.

В Ним приезжаем довольно поздно, останавливаемся у первого попавшегося отеля с двумя звездочками (классы гостиниц сообщают звездочками при входе: без звездочек - плохой, пять звездочек - самый лучший). Не находим в телефонной книжке номера Марти, звоним доктору Коломбу, уславливаемся утром увидеться, заваливаемся спать.

Мы допиваем утренний кофе в гостиничном холле, когда внутрь пружинистым спортивным шагом входит невысокий человек в бежевом пальто с непокрытой рыжевато-седой головой.

Это доктор Коломб.

Он еще не совсем понимает, чего от него хочет советский товарищ, ведь он не историк, а хирург - вот с утра сделал две операции, нечаянно задел руку скальпелем (большой палец доктора на левой руке заклеен прозрачным пластырем).

Так вот он и живет всю жизнь: клиника, больные, операционная, а вперемежку с этим - кусочек земли под Арлем, виноградник.

Война? Почти то же самое, мадам и месье. Больные, операции, перевязки, - правда, все это в адски трудных условиях, иногда при коптилке, без анестезии, на кухонном столе. Особенно трудно пришлось в 44-м - вокруг шли жаркие бои, а в боях много стреляют.

Женщины? Немало. Сестры милосердия, раненые, больные, даже роженица. Среди них попадались и русские. Ну конечно, они были из Москвы, с Украины, с Кавказа и, наверное... как вы сказали? Ну да, из Азербайджана. Ах, Баку, как не слыхал, петроле... Здесь все они были бывшими русскими военнопленными. Джейран - это лань, серна, антилопа? Почти наверняка брасри под таким названием существовало... Поищите, хотя, тоже почти наверняка, оно не сохранилось - новые времена, новые владельцы, новые названия. Тем не менее, если не изменяет память, ее привозили на ферму в устье Роны, где разместился походный госпиталь...

Я медленно приподнимаюсь с кресла. Дальше, дальше...

Доктор Коломб поправляет пластырь на пальце. Он не собирается долго тянуть. Да, она была гибка и стройна, как лань, несмотря на живот. Преждевременные роды, выкидыш.

Я медленно опускаюсь снова в кресло. Рожающая Джейран - это совершенно неожиданный ход, опрокидывающий все мои предварительные концепции.

Однако тот, кто их опрокидывает, тут же невозмутимо восстанавливает равновесие.

Кто она была - француженка, русская, итальянка? Со времен Гиппократа для врача существует единый этический закон - страждущему должна быть оказана помощь. Даже врагу.

«Однако профессионализм - не шоры, можно разглядеть, кто есть кто», - не говорю, а ворчливо думаю я.

И, будто отвечая, доктор Коломб рассказывает о других - он помнит советскую девушку Аню, переводчицу при партизанском полке из советских военнопленных.

Она восхитительно танцевала на балу в честь Победы в здании городского собрания в Ниме: до отказа набитый зал на две тысячи мест, военный оркестр, незабываемый вечер братства и радости.

Доктор не принадлежит сам себе, его ждут больные. Хрупкий материал, требующий его искусства.

- До новых встреч, мадам и месье. Желаю всем удачи.

* * *

К Марти идем с Виктором. Ярко светит солнце, в пальто даже жарко. Ним по-южному щеголеват: нарядные виллы, кружевной павильон для оркестра в городском саду, пестрота козырьков над магазинами, а рядом, на центральной площади, памятник римского владычества - арена, ныне используемая для коррид и даже для футбольных матчей.

Иду по улице, а рядом опять журчит ручеек ассоциации. Чем он вызван? Тем, что ряды платанов переносят меня в Кировабад? Ним более европеизирован, приглажен, элегантен, но в чем-то и менее красив, чем омоложенная старая Гянджа.

Но, видимо, не эти невольные сравнения питают ручеек, текущий рядом, - он исчез, появился снова.

Сюда, в Ним, смотреть бой быков на этой вот арене, летом приезжает Пикассо. Ба, да не один же Пикассо. Ведь на корридах мог бывать Хемингуэй - в темной куртке и толстой фуфайке, садился на скамью, близоруко щурился, протирал очки. Сильна все-таки власть литературы. Еще дома я дал слово, что в Париже непременно поброжу по тем памятным уголкам, которые остаются «праздником, который всегда с тобой». Мы побывали с Кудрявцевой в «Селекте», сидели на узенькой скамье в похожем на вокзальный вестибюль желтопурпурном, оглашаемом многоязыким говором «Куполе». И вот новое свидание на юге?

Пробираемся по узкому переулку, поднимаемся вверх по лестнице, опять сразу попадаем в кухню, и опять нас встречает старая женщина, на этот раз сильно прихрамывающая, в перепоясанном шнуром байковом халате.

Вскоре в кухню вваливается и сам Габриэль Марти - полный, с мягкими чертами лица подвижный человек в берете и замшевом пиджаке - он уходил за газетами, но о нашем визите его оповестили еще вчера.

На столе появляется сливовая настойка - фирменное производство мадам Марти.

Первые общие вопросы, такие же общие ответы, но у нас говорят, что беседа подобна мешку с крупой на плечах, если прорвется, то остановить уже невозможно. Мешок прорывается быстро. Марти - документалист, он любит вещественные доказательства.

Знак жене - и та приносит целую груду орденов и медалей, а среди них - орден Почетного легиона, одна из высших французских наград.

Рассказ Марти тоже сопровождается иллюстрациями: вот фотография - он в надвинутой на лоб кепке, еще относительно молодой, когда оказалась пустой хлопушкой линия Мажино и был подписан позорный акт в Булонском лесу.

Тогда, в 40-м, его, коммуниста, бросили в тюрьму, потом в лагерь, но по счастливой случайности в 41-м выпустили.

Знак жене, та приносит фотографии, обрывки воззваний, вырезки из тайно издаваемых бюллетеней и брошюр.

В течение последующих трех лет Габриэль занимался, по собственному выражению, саботажем и политикой.

На столе новое фото. Это портрет капитана Робуля, коммуниста, члена подпольной организации, который находился в заключении и побег которого из тюрьмы подготовил и осуществил Марти.

Освободив Робуля, Марти ушел в корпус освобождения, организовал в Валиборне отряд патриотической милиции.

Еще одна серия документов знакомит с деятельностью отряда, освобождавшего департамент Гар и Лозер, - в него уже входило много советских людей, бежавших с севера. Двум из них пришлось бежать, использовав единственный шанс: они бетонировали линию укреплений, оглушили эсэсовца, тот свалился в яму, но начал вылезать обратно. Оружия у пленных не было, они залили его бетоном.

Поверх фото ложится журнал, успеваю прочесть «В мире книг» - наш журнал, № 5 за 1965 год. В нем помещены снимки Марти и бойцов, принадлежащих к разным нациям нашей страны.

Они проявили неслыханный героизм в огне битв с отступающими немцами между Марселем и Нимом. Часть вернулась на родину, часть лежит на кладбищах вокруг,

которые мы обязательно посетим.

Настойчиво, упрямо, со всех возможных сторон подвожу Марти к своей цели. Он может многое рассказать, но он - документалист, ему надо время, чтобы досконально выяснить все обстоятельства, могущие пролить свет на мучающую меня загадку.

Он тщательно записывает мои отрывочные сведения в блокнот. Он приложит все силы, чтобы найти концы этой истории, хотя все и было так перепутано в те годы, что любой поиск равносилен поиску иглы в стоге сена.

Мы выпиваем еще по рюмочке. Марти зовет нас в гостиную - небольшую комнату со старомодным сервантом и новеньким телевизором в углу. Сервант, стол, кресла заставлены вырезанными из дерева композициями, бюстами, барельефами - монументальными и лиричными, печальными и смешными, но всегда оригинальными.

Скульптура по дереву - страсть Марти, пронесенная до старости из детства.

Он дарит мне одно из своих произведений - гротесково утрированную, но с очень точно подмеченной характерностью фигуру де Голля, выступающего с речью с трибуны.

Уходим с Виктором опять с ощущением, что были не в гостях на чужбине, а дома.

Ним залит солнцем, вот мрачноватая, с большими окнами, тяжеловесная гостиница «Император». Марти говорил, что в ней жили немецкие и вишийские офицеры (думаю о возможном эпизоде с Джейран в этой гостинице и тут же от него отказываюсь - было уже в «На дальних берегах», не надо), вот Люксембургский дворец - бывшая резиденция бывшего гитлеровского коменданта города...

Быстро собираемся, кидаем сумки в машину, выезжаем.

* * *

До Родеза недалеко, но нам предстоит перевалить через горы Центрального массива.

Сидящая рядом Кудрявцева раскладывает на коленях карту, окончательно беря на себя многотрудные обязанности штурмана экипажа.

- 105-я дорога... потом на 117-ю... Какой тут пункт? Ага, Флорак... Значит, Везенобр, Тайяд, Флорак... - размышляет она вслух.

- А что означает Ле-Сальдю Гарден? - спрашиваю я, когда мы проезжаем местечко с этим звучным названием.

- Труба и колокольня, - поясняет штурман.

Уму непостижимый калейдоскоп логичных, алогичных, лишенных всякого смысла названий сопровождает нас всю дорогу: только что завтракали в мотеле «У кипящей воды», хотя вокруг не было никакого намека на родник, вот поворот к деревне «4 времени года», а вот мелькают рекламные призывы пригородных гостиниц и пансионатов: «Задиристый петух», «Золотой лев», «Спящий кролик», «Святой волк», «Синий слон», «Поющий попугай». Среди этого животного мира не мудрено затеряться джейрану - маленькой, грациозной степной лани.

Сразу, будто отпрянув назад, весна уступает место зиме: падает снег на шоссе, на мирно дремлющие виноградники и сады. Виноградники здесь подрезают не так, как у нас: ветви удаляются на зиму полностью, остается только торчащий из земли обрубок главного ствола. Очевидно, при такой подрезке обеспечивается более эффективный рост весной и летом.

Природа вокруг становится строже, незаметно поднимаемся выше и выше.

Внизу в долине - городок с обогатительной фабрикой, к ней движутся подвесные вагонетки.

По горным склонам раскинулись леса и рощи, опоясанные металлическими изгородями и сетками: частная собственность.

Развалины старинных сторожевых башен и замков соседствуют с новенькими, приветливыми и уютными сельскими домиками.

Встречных машин становится все меньше; видно, не каждый рискует сегодня ехать по серпантину, постепенно становящемуся первоклассной ледяной дорожкой для конькобежцев.

- А вот удел рискующих, - весело бросает Виктор. Вылетевшая прочь с дороги, на повороте вверх колесами лежит исковерканная машина.

Радио сообщает, что за вчерашний день произошли сотни катастроф, - движение на некоторых дорогах перекрыто.

Наша в числе перекрытых не названа, по всей вероятности из расчета, что нормальные люди по ней не поедут. Мы, ненормальные, едем, хотя начинает темнеть, а шоссе петляет с таким изощренным коварством, что наши испуганные реплики превращаются в нечленораздельное мычание.

Впрочем, это не относится к нашему капитану - свободно, спокойно, но без всякого позерства, без единого лишнего движения он подбирает под колеса километр за километром.

Будто сжалившись над нами, опять без лишних предисловий, вдруг проясняется небо, сухим становится асфальт, окрашиваются в розовые тона леса вокруг.

Ан нет, это не пурпур заката - вдали полыхает лесной пожар. Это - страшная беда. Хорошо, что еще зима, а если летом? Ведь недавно, в летнее время, когда лесные пожары во Франции не удалось локализовать и они приняли угрожающие масштабы, в сражение с огнем ринулись советские летчики. В дыму этого сражения погиб наш вертолет под командой Героя Советского Союза Ю. Гарнаева. Тела летчиков доставили в Москву, а вот скольких героев, погибших в дни войны, продолжают оплакивать старые матери в моей стране, даже не зная, где могилы их сыновей. Мы едем из городка в городок, из местечка в местечко, и везде нас встречает или провожает обелиск с надписью «Озанфан де ля Патриа» - «Детям родины». Во имя спасения Франции стали ее детьми и наши советские люди, они легли во французскую землю и навсегда стали ее частицей, и этого никогда и никому не забыть.

Я был - и завтра, послезавтра буду еще - на кладбищах: в аккуратно обнесенных стеной, тщательно ухоженных, с дверями, отпирающимися в определенные дни и часы (мертвым нужен покой).

Там, на надгробьях братских могил, рядом с именами Поль и Жан значатся Исмаил и Кямиль; рядом с французами сражались азербайджанцы - Мирзаханов, Фараджиев, Ахмедов, в одном лишь бою около Родеза их погибло свыше тридцати.

Найду ли я еще одну могилу? Своей отважной и нежной Джейран? Нам показывали стену возле Авиньона, где расстреливали макизаров, - может быть, перед этой стеной, обратив взгляд в сторону родной земли, она и приняла смерть? Она была, существовала, дралась, - значит, след останется: французы - не забывчивый народ.

Развиднелось, и снова сразу стал валить снег. Не случайно сопротивленцы охотно группировались в этих лесах - легко укрываться, можно нанести удар и мгновенно запутать следы, кроме того, тут рудники, рабочие районы.

За стеклом машины уже ночная тьма. Смирнов включает дальний свет, ориентируется по дорожным маякам, очень простым и мудрым штукам; бетонный столбик покрыт красными стеклышками, на них падает луч фар, столбик превращается в красный факел, предупреждающий водителя о границах шоссе.

После очередного слалома выбираемся на прямую - впереди огни Родеза.

Родез встречает теплым светом окон и реклам, усилившимся снегопадом, очередными авариями - прямо при въезде встречная двухместная машина с девушкой за рулем, сделав два полных кульбита, врезается в стеклянную дверь магазина.

Созваниваемся с Раймондой Капю. Через двадцать минут в вестибюль гостиницы входит полноватая женщина в кожаной куртке и черных брюках.

Мы успели умыться с дороги, но еще не успели поесть. И Раймонда ведет нас в ближнее кафе. Она уже успела поужинать, а на ночь пьет только ментоловый чай, мы накидываемся на родезскую достопримечательность - соль, рыбу, напоминающую каспийский берш.

Раймонда рада встрече, засыпает нас вопросами, но заметно, что ей дорого стоит деланная безмятежность. У Раймонды страшное горе. Год назад вся ее семья возвращалась из деревни в город. Муж - известный в партизанском подполье как майор

Прукс - не успел затормозить, и на большой скорости его машина столкнулась с разворачивающимся самосвалом. Сам майор скончался мгновенно, сыну переломало ноги, позвоночник, ребра, невестке изуродовало челюсть и руку, Раймонда тоже с перебитой рукой и ключицей, в обмороке, придавила телом пятилетнего внука, у которого оказалось ранение черепа. Он уже задыхался, когда люди вырвали искореженную дверцу автомобиля и вытащили Раймонду, а потом и ребенка.

Тридцать пять лет шагала Раймонда вместе с мужем - через тюрьмы, лишения, войну, ни на миг не допуская, что они расстанутся столь нелепо. Внук поправился, невестку тоже поставили на ноги, но у нее расстроена психика, нужно лечение. Еще хуже с сыном: год лежал в гипсе, а теперь обнаружили, что кости срослись неправильно, надо их ломать и сращивать вновь. Завтра в полдень хирурги начнут это делать.

- Завтра? - машинально переспрашиваю я и здесь же прошу нас простить: мучить делами в канун такого тяжелого испытания?

Но я недооцениваю внутренние силы этой женщины.

- Прукс не простил бы мне слабости, продолжим.

Просто, словно речь идет о самых обыденных вещах, она рассказывает прямо-таки невероятные эпизоды из истории борьбы с оккупантами.

О том, как, работая в парижском подполье, она выходила из метро с чемоданом, в котором лежали бюллетени и деньги, предназначенные для отправки в провинцию, а в кармане пальто - пистолет. Выход оказался блокирован эсэсовцами. До них, то есть до смерти, оставалось двадцать шагов. Она прошла их с таким рассеянно-независимым видом, что произошло чудо - ее даже не остановили.

О том, как ночью начали взламывать дверь явки, и она прямо из постели - босая, в рубашке - выпрыгнула в окно второго этажа, миновав заснеженный двор, прижимаясь к стенам, полуголая, выбралась к Сене, кинулась в воду, доплыла до старой баржи, где ее укрыли товарищи по оружию.

О том, как ее выследили с тяжелой корзиной с оружием и как ее спас ничего не подозревавший один грязный тип - сутенер и сюжулянт.

И о том, что, собственно говоря, зачем утруждать себя какими-то поисками, - можно писать роман с нее.

- С вас?

- Вы и хотите писать обо мне, - мягко подтверждает Раймонда. - Расходятся внешние приметы, но, каким бы именем вы ни нарекли свой персонаж: в сущности - это я. Основная разница - я еще живу, а не мертва, - с горечью добавляет она.

Я откладываю в сторону исписанную записную книжку. Поздно, в зале, кроме нас, никого уже нет.

До чего же она все-таки права, принципиально права, эта волевая, сильная женщина.

Я передаю ей сувенир - бутылку водки.

- Мой муж обожал русскую водку, - грустно улыбается Раймонда. - Пойду домой и устрою поминки. Буду пить за него и за себя.

Мы провожаем ее до перекрестка.

- Спасибо вам, - говорит Кудрявцева.

- Вам спасибо, был чудесный вечер, - говорит Раймонда.

Это звучит не как вежливость, наверное, эти быстро пролетевшие часы были для нее хорошими.

Подняв воротник куртки, она быстро удаляется от нас.

Бесшумно ложатся крупные хлопья снега, Родез погружается в сон.

А мы еще долго бродим по тихим, безлюдным улочкам и крохотным площадям, прежде чем уходим в гостиницу.

Гостиница попалась небольшая, но комфортабельная- с бесшумными автоматическими лифтами, удобными номерами, пуховыми постелями.

И, как назло, опять не идет сон.

Жарко, встаю, открываю окно. В тишине гулко бьют полночь часы на городской башне.

Она права, Раймонда, сидящая сейчас в одиночестве у себя дома: на столе бутылка, две рюмки, за стеной разметавшийся во сне мальчик, сосредоточенно шагающая из угла в угол душевнобольная невестка. Завтра, стиснув зубы, она будет молча сидеть в приемной больницы, потом пойдет в комитет, где замещает мужа... Удар чередуется с ударом, как бой этих часов, и после каждого удара одна мысль - выстоять, выстоять...

Не только писать книги, стихи, музыку - таким женщинам надо ставить памятники при жизни. А для нее до сих пор еще решают вопрос пенсии - сто сорок франков за мужа. А мы заплатили за рыбу и чай что-то около сорока. Правда, для пенсионерки - бесплатное лечение.

Все же утром поедем в Обен, там живет булочник Виттори, бывший партизан, может быть, что-нибудь расскажет и он...

* * *

Утром вместо машины находим высокий сугроб у тротуара. Мороз - десять градусов. Прогнозы малоутешительные, ожидается усиление снегопада. Ни о каком Обе-не не может быть и речи. Благо, если выберемся отсюда, - можно застрять на несколько дней.

Звоним Раймонде, стократ желаем ей удач, выезжаем на шоссе.

Вчерашнее, видимо, вскоре покажется нам легкой увеселительной прогулкой - крутит вьюга, ни зги не видно в двух шагах, ползем, как черепахи.

Пересекаем вьюжную полосу - еще хуже: ветер начисто смел снежный покров с дороги, и ее отличное покрытие обратилось в скользкое зеркало, руль уже ни при чем, машина отдается на волю слепого случая.

А случаи не заставляют себя ждать: очень интенсивно движение на дорогах, стоит вильнуть одной машине, как сталкиваются друг с другом три, пять, семь...

Это наваждение, преследующее нас: сводки по радио, трагедия семьи Капю, один хаос из разбитых автомобилей следующий за другим, фонари-мигалки полиции, сирены медицинской помощи.

Молим бога послать снег - при снеге легче, но с крутого витка вдруг вкатываемся в долину, а в долину бог, сжалившись над нами, послал не то начало весны, не то конец осени.

Безоблачная голубая полоса, пролегающая между горами, пересечена радугой.

Приближаемся - это не небесные врата, а земные: огромное полукружие металлического моста, перекинутого с одного горного склона на другой, - какая-то изумительно дерзкая инженерная песня.

Мчимся по долине до городка Кармо, где вливаем горючее в опустевшее чрево своего корабля. Выполнив эту операцию у «Шелла», где нашу машину еще и высвобождают от ледяных наростов, Смирнов садится за руль и вдруг, улыбаясь, поворачивается в нашу сторону:

- В Марсель, что ли?

Марсель в намеченном маршруте отсутствовал, но соблазн в нем побывать так велик, что обсуждение поставленного вопроса не отнимает и минуты.

- Мы в Овероне... Пересекаем департамент Эро, минуем Кастр, Безье... Арль... - с профессиональной небрежностью водит Кудрявцева по карте.

Мы ни капли не сомневаемся в ее квалифицированности, хотя, перескакивая с шоссе под одним номером на шоссе, помеченное другим, я прочитываю на указателе слова «Ним» и «Але», в которых, насколько помнится, мы побывали еще позавчера.

Стоит зародиться червю сомнения, как он вмиг превращается в пожирающего тебя крокодила: мы едем по дороге-аллее с сомкнутыми над головой ветвями платанов, делаем круг и, по моему убеждению, снова едем по той же аллее.

Слева роскошный мотель. Как же, мы только что проезжали мимо него! И эту стайку машин с лыжами и даже санями на крышах, направляющуюся в горы, тоже уже видели.

Развилка шоссе - снова на стрелке «Але».

- Кастр налево, - убедительно произносит Кудрявцева.

- Налево Испания, - чуть поправляет ее Виктор, указывая на дорожный знак.

- Тогда направо, - с редкой последовательностью сразу говорит штурман.

Тяну за уголок карту с ее колен, пытаюсь разобраться в переплетении красных и синих линий, - ничего, кроме того, что они смахивают на кровеносную систему человека, сообразить не могу.

- Кастр прямо, - теперь говорит Кудрявцева.

Убеждение - сила, способная на чудеса. Через полтора часа въезжаем в Кастр, хотя на одном из указателей я снова прочитываю «Але».

Кастр - старый город с новыми домами на окраинах и множеством автомобильных стоянок, с модерновым парком в центре: всем деревьям и кустам в этом парке приданы формы кубов, конусов, трехгранных прямоугольников, шаров. Оригинально? Да. Красиво? Не очень.

Представляю на минуту, какая тоска воцарилась бы вокруг, если везде бы начали стилизовать зелень под эти образцы.

Нет спору, в житейский обиход, в быт этот стиль принес преимущества - мебель, домашняя утварь, посуда стали дешевле, удобнее, компактнее, но француз обязательно построит дедовскую печь в комнате или вызывающе повесит на стенку, оклеенную обоями с абстрактным рисунком, простую медную сковородку. И тут не только попытка индивидуализировать свое жилье, выразить свое «я», тут - скрытый протест против космополитичности модерна, убивающего национальное.

Главная достопримечательность Кастра - музей Гойи, в котором выставлено несколько оригиналов художника.

В первом зале - «Капризов» - собраны восемьдесят офортов, во втором выставлены «Собрание филиппинской хунты во главе с Фердинандом VII» и несколько портретов, в том числе автопортрет.

Не отрицаю, я - дилетант в живописи, но как теоретически можно объяснить возможность написать кистью глухоту?

Гойя написал себя глухим: дряхлеющий человек в круглых очках смотрит на вас и не слышит ни одного звука. Никакой напряженности, никакого намека на то, чтобы подчеркнуть или скрыть свой изъян, - просто смотрит человек и не слышит. Ребенку понятно, что не слышит. Это как есенинский стих - необъяснимо.

- Марсель, - шепчет Виктор, показывая на ручные часы.

В предвечерний час, когда вокруг все тот же ландшафт - холмы, виноградные массивы, изгибы рек, перелески, - я опускаю стекло окна и безошибочно, нюхом потомственного приморца, ощущаю горьковатую пряность воздуха.

О приближении моря говорят и участившиеся встречные транспорты с «обедами Посейдона» - к утренней заре они доберутся до парижского рынка.

Это здесь в 44-м проходили гитлеровские дивизии, спешившие воссоединиться со своими армиями у линии Мажино, и здесь сопротивленцы в ожесточенных боях обескровливали и перемалывали эти дивизии.

Дюны, пески, резкий вираж шоссе и море, дышащее слева...

Сэт, рыбачий городок, с гаванью, вклинившейся в ряды домов, складов и холодильников, с невообразимой суматохой баркасов, траулеров, моторных и парусных лодок, - одно из самых красочных мест, которые нам довелось видеть за всю поездку.

За Сэтом уже чувствуется не только непосредственная близость моря, но и приближение большого города.

* * *

Святая дева, охраняющая морехода, стоит на высоком холме, а у ее ног плещется людный и красочный город.

Когда-то Александр Николаевич Островский, побывав в Баку, нашел в нем сходство с Марселем.

Барбюс подтвердил эту мысль, французские журналисты, недавно гостившие у нас, говорили то же самое, и я, вглядываясь в главный марсельский проспект, в грандиозные портовые сооружения и причалы с кораблями под флагами всех стран мира, в линии зданий и расположение улиц, все время выискиваю признаки, подтверждающие эти сравнения.

В широко взятой панораме что-то общее, безусловно, есть. Но, наверное, Баку не был бы Баку, а Марсель не был бы Марселем, если бы их не различала собственная красота.

Вечереет, холодно, дует проникающий в костный мозг мистраль (вот это уж абсолютная копия бакинского хазри).

В Марселе всего миллион жителей. Но здесь юг, улицы - продолжение домов, и на них выплескивается столько народу, что город кажется многомиллионным.

Иноземцы и свои, матросы, дельцы и рыбаки, рабочие и туристы, торговцы и проститутки, богачи, бедняки - кого только не встретишь на марсельских тротуарах.

Продолжаем кружить на машине: солидные банковские громады, гвалт рыбачьего порта, респектабельные клубы и магазины, крепостные стены, подозрительные увеселительные заведения и кабаки.

Останавливаемся на набережной. Вперемежку с причалами раскинулись городские пляжи. В отличие от загрязненных Роны, Гароны, Сены и Луары - всех четырех французских рек, из которых никто не рискнет испить воды, - море чистое, золотом отливает песок пляжей.

Порывы ветра чуть не валят нас с ног. Решаем отметить посещение Марселя ужином в «Сен-Мишеле» - он рядом, на набережной, прославленный рыбный ресторан, где нас встречают официанты в полосатых тельняшках и плетеные корзины с трепещущей рыбой, крабами, мидиями, какими-то съедобными водорослями.

Подают традиционный буйабез, самое настоящее наше пити, но морское: вместо баранины - кусок красной рыбы, кусок частиковой, лангуст. Это - на отдельной тарелке, рядом - кастрюля с супом, таким острым и наперченным, что, кажется, глотаешь взрывчатку.

За окнами останавливаются две машины, входят несколько женщин в норковых и леопардовых шубах, с ними двое мужчин - молодой и старый, небрежно кидающие гардеробщице свои пальто.

Компания садится рядом, заказывает устриц, шампанское, морских ежей. Ежей нет, молодой бросает сквозь зубы что-то старому, тот вскакивает, бежит на улицу, через десять минут к окну вновь подкатывает одна из машин, старик проносит перед сконфуженными рестораторами и демонстративно водружает на стол большущий картонный ящик с разделанными, готовыми к употреблению ежами.

Кто они: владельцы концерна, банкиры, оптовые торговцы наркотиками?

Не пойму, - то ли слишком раздражающе блестели колье и браслеты на женщинах, то ли из-за совсем не аристократической жадности, с которой молодой, намазав хлеб майонезом, накинулся на ежей, - не пойму почему, но мне живо представилась аравийская песчаная пустыня, верблюды, позвякивающие бубенцами и проносящие через границу в желудках синтетические пакеты с опиумом, тайные лаборатории в окрестностях Марселя, где этот опиум превращается в бесчисленные пакетики с героином, высокие кипы банкнотов и груды золота перед этим молодым человеком. Малейший просчет - он же, не моргнув, укокошит свою подругу, мило наливающую ему искрящееся вино в фужер, или невозмутимо - как Делон в фильме - утопит старика.

Не знаю, мучила ли меня изжога от нитротолуола, поглощенного в виде буйабеза, или это был первый легкий ностальгический приступ (Кудрявцева потом уверяла, что это мистраль так действует на нервы и кровеносные сосуды), но мне захотелось уйти отсюда.

И не только отсюда, уехать из Марселя. Куда? Куда угодно, в ближайший городок, в какую-нибудь уединенную гостиницу, в тишину.

Понимаю, что впервые нарушаю царящий среди нас высокий дух коллективизма, понимаю, что Смирнов валится с ног от усталости, но едем.

Едем в темноте долго, молча, лишь воет ветер за окном.

Наконец Виктор решительно останавливает машину у неоновой вывески, оповещающей, что в глубине сада притаился отель.

Как он называется, где он, - нас ничто не интересует. Идем в свои номера, засыпаем, еще раздеваясь...

* * *

Простенький и чистенький отель, приютивший нас на ночь, окруженный садом с плавательным бассейном, называется «Розовый фламинго», а городок вокруг - План-де-Оргон.

Пока Кудрявцева расплачивается, а Виктор копошится в моторе, выхожу из сада на улицу. Несколько таких же по размерам гостиниц, как и наша, лавки, стреноженный конь, пасущийся на лужайке, заправочные станции.

На углу грузит черную канистру в автофургон отдувающийся, в узких джинсах под свисающим животом шофер. И наискось от него, на выбеленной задней стене приземистого дома, я вижу силуэт джейрана - он смутно проступает сквозь слой извести, но это, без всякого сомнения, тонконогий, бегущий джейран.

Дергаю себя за ухо - видение не исчезает.

Неужели здесь, неподалеку от Марселя, в этом вот городке, я его поймал?

Веду себя, очевидно, несколько странно: тучный шофер фургона пристально смотрит на меня, затем уезжает от греха подальше.

Иду обратно в гостиницу.

Еще готовясь к поездке, я зарекся, что, если буду писать путевые заметки, то нигде не сошлюсь на беседы с неизвестными таксистами, носильщиками на аэродромах и прохожими, как правило, появляющимися в таких заметках для того, чтобы изрекать наиболее значительные истины.

И вот поплатился: следующие полчаса в поисках искомой правды проходят в торопливом разговоре как раз с безымянными заправщиком станции, садовником, владельцем отеля, еще с какой-то старухой.

- Да, определенно, да, категорически - да. Это олень, газель, и вполне возможно, в те годы там было брасри, - считает садовник.

- Гм, не помнится такого, - подходит заправщик. - Вот в департаменте Ньевр я в молодости заходил в кафе «Лань», его содержала старая итальянка...

Нет, нет, старая итальянка не подходит, изображение на стене становится еле заметным.

- Вспомнил, - хлопает себя по лбу владелец отеля. - Тут до войны был скверик, в нем играли дети. Вот стена и была разрисована для них всякими зверюшками. Потом ее, наверное, закрасили.

Джейран на стене исчезает.

- Определенно - да, - продолжает твердить садовник, но уже нельзя понять, относится это к брасри или к детской площадке.

Рассаживаемся по местам, почти машинально продолжаю озираться по сторонам: тополя вдоль улицы, сады с низкорослыми яблонями, обвитая виноградом двухэтажная усадьба, что-то похожее на лесопилку вдали, телега, запряженная тяжелыми першеронами.

Подробно записываю все в книжку. Джейран убежал, но эти приметы я запомню - они помогут мне возвратиться сюда, в эту южную полудеревню-полугородок, в те высокие и страшные дни, когда моя землячка отдала за свободу то, что отдал бы не каждый из окружающих: жизнь.

Существуют все-таки телепатические флюиды - мы все трое, видимо, думаем об одном и том же.

- Поедем через Орлеан: посмотрим Жанну, - поворачивается назад Виктор.

- Только что об этом подумала, - говорит Кудрявцева.

Она разворачивает карту на коленях:

- Направление через Тулузу... нет, по департаментской дороге через Шоффай, выходим к Луаре... небольшой крюк, гор нет, - докладывает она.

За окнами - знакомый гобелен: дорога порою становится тоннелем со сводами из ветвей густо посаженных каштанов, расстилаются аккуратные прямоугольники виноградников, блестит зеленоватая чаша озера, указатели гласят, что налево - «дорога Божоле», а свернув вправо, можно достигнуть мест, названия которых так или иначе часто произносит всякий уважающий себя мужчина на свете: направо деревни Коньяк, Виньяк, Арманьяк.

Мы пока не осознаем штурманской ошибки, хотя на шоссе становится все больше машин с разным горноспортивным инвентарем на крышах.

- Горы, - спустя немного флегматично говорит Виктор.

- Не может быть, - запальчиво возражает Кудрявцева, вспоминая Кастр.

Но Кастр остался позади, а впереди проступает горный кряж.

Снова повторение позавчерашнего: дождь, потом снег, потом ясно, но гололед.

Упрямо ползем вверх, местечко Шоффай, ранее прогнозированное как деревня на равнине, оказывается высокогорным городком. По колено в снегу шагаем завтракать в «Дю Миди», то есть в гостиницу «Южная».

В переполненном зале насчитываю шестнадцать столиков, а обслуживает их всего одна девушка - без лихорадки, легко, улыбчиво, невероятно быстро. Как она успевает?

Ничего не скажешь, трудовая Франция умеет работать.

В Париже нас пригласила домой обедать семья литераторов, я следил за малолетними детьми: они убирают комнаты, моют посуду, ходят за покупками, починяют, шьют, красят, - трудовые навыки прививаются чуть ли не с пеленок.

Когда-то Маркс в одной из своих работ приводил диалог с тремя рабочими, воздвигавшими собор.

Как известно, каждый из них катил тяжелую тачку, но на вопрос, что они делают, первый ответил - везу тачку; второй - зарабатываю деньги; третий - строю памятник, которому стоять в веках.

Добротность всего, к чему сегодня прикладывается рука трудового француза, говорит за то, что он думает так, как третий рабочий, а его современная борьба дополняет: стоять в веках для моих потомков - людей труда.

Это, естественно, не относится к молодежи, что мы потом встретили внизу у Луары, на «мерседесах» и «ягуарах», за которыми следовали прицепы со сложенными кверху крыльями их собственных самолетов. Или к отпрыскам владельцев тех «шато», которых такое множество в долине этой реки.

Неописуемо красивая долина Луары, излюбленная французскими королями и герцогами, усеяна этими «шато» - старыми замками и поместьями, окруженными вековыми парками.

Наш век внес свои неумолимые коррективы в облик этих замков - на подворье гаражи встречаются чаще, чем конюшни, а в Шенонсо, знаменитом замке Дианы де Пуатье, построенном на мосту через приток Луары, из которого эту бывшую королевскую любовницу изгнала Екатерина Медичи, сейчас живет шоколадный «король» Мёнье.

Обедневшая родовая аристократия продает замки лавочникам, превращает их в музеи: заплати пять франков, смотри, как мы некогда жили.

Пути господни неисповедимы, пути обогащения - тоже. Виктор нажимает кнопку радиоприемника, поет несравненная Пиаф, еще одна шансонье, - забыл имя, потом Сильвия Вартан.

Поет неплохо, но озолотило ее не пение: дом моделей договорился с ней выпустить серию модных платьев под ее именем, платья «Вартан» пришлись по вкусу и разошлись «массовыми тиражами», а проценты с этих тиражей дали завидные деньги.

В замках на Луаре устраиваются представления «Сон э Люмьер» - праздник «звука и света»: динамики усиливают голос чтеца стихов старых поэтов, цветные прожекторы

освещают «натуральные» сцены - облаченных в бархат и тяжелые шелка важных вельмож и именитых дворян.

Не удалось увидеть, но говорят, очень любопытно.

В заснеженном Орлеане, на площади перед памятником Жанне д’Арк, стоим уже поздним вечером.

В ушах настойчиво звучит светловское: «... Жанна д’Арк отдавала костру свое молодое, тугое тело...»

Орлеанская дева на коне, символ французского патриотизма, олицетворение вечности подвига, становящегося сильнее смерти, - то, из-за чего мы, в сущности, и колесим сейчас по Франции.

В Париже тоже есть монумент Орлеанской девы - менее интересный, покрытый во времена оккупации бронзой. Французы не смывают этот аляпистый покров, эту вопиющую безвкусицу, предоставляя всем возможность удостовериться в эстетических критериях вермахта.

От Орлеана до столицы рукой подать, но, без преувеличения, этот кусок прекрасной автострады оказывается труднее, чем в горах. Мы скользим по льду со скоростью 5-10 километров в час.

Поравнявшись с исполинским табло с надписью «Париж», Виктор наклоняется над спидометром: позади 2431 километр.

* * *

Дмитриевский обнимает нас так, будто мы пересекли Атлантику на байдарках.

Он был не одинок в своем беспокойстве: портье уже прочел нам список звонков - посольство, друзья, министерство иностранных дел. Мы слышали только часть сводок о гололеде и авариях - газеты полны сообщений о таких невероятных случаях, что начинают мурашки бегать по спине. Зря я считал за парадокс еще одну мудрость в книге назиданий моего народа: быть в гуще событий легче, со стороны они всегда кажутся тяжелее.

Нам еще предстоит уйма дел.

Вопросы сотрудничества и контактов требуют свиданий с редакторами, деятелями культуры, руководителями французских коммунистов, мы носимся из одного конца города в другой.

Назначает час свидания и Анри Мишель - директор института по изучению второй мировой войны. Едем на рю де Сталинград - есть такая улица в Париже.

Институт новый, видимо, хорошо субсидируемый - заметно по мебели, лифтам, количеству секретарш.

Взаимные учтивые приветствия, краткая информация об исследованиях института, просьба передать пожелания принять в них участие и советским историкам. Затем Мишель глубже располагается в кресле и, протирая очки в металлической оправе, сосредоточенно думает над ответами на мои вопросы.

Диалог после обдумывания происходит такой.

Мишель. Да, это наиболее эффективный путь: по мере сбора материалов о женщинах - бойцах Сопротивления-обращать сугубое внимание на их биографические данные. Я дам указание делать это по спискам, какие есть и какие будут.

Я. Благодарю вас. Мы оставим адреса.

(Кудрявцева пишет адрес.)

Мишель. Наш адрес у вас есть. Теперь у меня вопрос. Почему вы, беллетрист, ищете документального подтверждения этой версии?

Я. Видите ли, мне приходилось с моим товарищем по перу писать роман на материале итальянского и югославского Сопротивления. В нем немало фантазии и вольных интерпретаций, но есть надпись, что прототип героя романа - реальная фигура. Я хочу иметь право сделать еще раз то же самое.

Мишель (хитро). А если не получите такого права? Что тогда?

(Пауза).

Я. Тогда этой надписи не будет. (Беспечно.) Только и всего, господин Мишель.

С этим выводом мы и покидаем институт.

- Надейтесь на нас, - уверенно сказал его директор на прощание.

Да, конечно. Чем силен человек? Надеждой.

Правда, я полагаюсь не столько на этот институт, сколько на комитет Фурнье-Бокэ. С ним мы еще раз говорим по телефону, и он заверяет, что розыски будут вестись беспрестанно.

А впрочем, с этакой беспечностью я сказал Анри Мишелю сущую правду. Нельзя сделать надпись на книге - так ее не будет. Надписи, а не книги. Я отчетливо вижу Джейран в Невере, в краю лесов и озер, рядом с Мажиссом; в приземистом строении в План-де-Оргоне, под полом которого сложены карабины, пистолеты и ящики с минами; ее, идущую с корзиной с воззваниями прямо на цепь эсэсовцев; у нее глаза, походка, смех, не похожие на Раймонду Капю, но такое же невероятное, нечеловеческое умение не сломаться, выдержать, выстоять...

У себя дома, в Баку, сидя за старым своим письменным столом, я перелистываю торопливо исписанные страницы записных книжек.

За окном уже весна: зелень покрыла ветви акации, журчат городские фонтаны, влюбленные заполнили скверы.

Наверное, сейчас иначе выглядит и Франция - цветут каштаны в Париже, растаяли снега и льды на перевалах Центрального массива, ожили виноградники в Арле, синим и ласковым стало Средиземное море.

За это время я перелистывал не только записные книжки, но и газеты: в феврале силы прогресса звали сказать «нет» авторитарной власти - они сказали это, де Голль покинул пост президента страны, встали новые проблемы, и, наверное, новыми противоречивыми надписями сейчас испещрены стены парижского метро.

В последний вечер снова вчетвером - Кудрявцева, Смирнов, Дмитриевский и я - мы бродили среди грандиозной огненной ночной декорации Парижа.

Шел февральский снег, опять дул ветер.

За деревянными заборами, пересекшими площадь Звезды, строился новый подземный туннель для автомобилей.

Ловкие, быстрые, сосредоточенные рабочие в касках и синих комбинезонах работали за этими загородками - рокот и шум их моторов и механизмов сливался с урчанием проносящихся мимо автомобильных потоков.

Этот рокот и сейчас в моих ушах: сильный, уверенный, спокойный голос трудовой Франции, через ночь, снег, ветер пробивающей трудную дорогу к утру своей земли.

А земля эта - ее города и веси, дороги, поля, сады и воды рек, купола церквей и корпуса заводов, - вся она осталась в памяти в образе динамично скомпонованного, выдержанного в бело-черной гамме гобелена, очень красивого и большого...

Сквозь этот гобелен отчетливо проступает лицо молодой женщины с лучиками ранних морщин у глаз, с серебряной прядью, пролегшей в черноте густых волос. Она говорит:

- Мы стали частицей земли, а земля вечно жива... Сделайте ее чище, прекраснее.

Март - апрель 1969 года

ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЗАИКА

У нас в народе есть обычай выливать вслед путнику кувшин чистой воды. Это к тому, чтобы путь его был легок и приятен и чтобы он благополучно возвратился домой.

В Риме, в фонтан Треви, люди кидают монеты, чтобы судьба вновь возвратила их в Вечный город...

Мы прилетели в Рим с переводчицей Татьяной Алексеевной Кудрявцевой в жаркий июньский день, и нас встретили палящие лучи солнца, вавилонское столпотворение разъяренных автомобильных стад, оранжево-коричневая величавость древних развалин и ослепительный блеск стекла и металла на ультрасовременных многоэтажных зданиях, кучи мусора и голубиные стаи листовок над площадями и улицами, неподвижное спокойствие пиний и нервное напряжение бесчисленных митингов и демонстраций, безмятежность разноязычных туристских толп вокруг Колизея, угрюмая сосредоточенность сидячей забастовки перед зданием итальянского парламента.

Мы объехали около двадцати гостиниц и обзвонили минимум еще двадцать, но для нас нигде не оказалось места: в день нашего приезда утром началась забастовка гостиничных служащих.

Уже к вечеру с помощью римского корреспондента агентства печати «Новости» Ивана Бочарова, энергичного и симпатичного молодого человека, встретившего нас на аэродроме Леонардо да Винчи, мы с грехом пополам втиснулись не то в номера, не то в чуланы в отдаленном от центра маленьком отеле «Буэнос Айрес» и отправились в помещение агентства звонить по телефону в Баку: я торопился узнать, как здоровье матери, которую, уезжая, оставил дома тяжелобольной.

Оказалось, что мы опоздали: в те часы, когда мы носились на бочаровском «мерседесе» из отеля в отель, забастовали служащие междугородной телефонной станции.

Здесь же, в служебном кабинете Бочарова, мы детально обговорили свои итальянские маршруты, а поскольку их главной и конечной целью была поездка на побережье Адриатики, решили заблаговременно купить железнодорожные билеты в Триест.

Увы, это тоже оказалось невыполнимым: на целых десять дней объявили забастовку железнодорожники.

Словно подтверждая сообщение из кассы предварительной продажи билетов, зазвонил телефон: это друг Бочарова, работник нашего посольства, у которого где-то на далекой пограничной станции в оставленном машинистом и проводниками поезде застряли жена и двое детей, едущие из Москвы, - языка не знают, лир у них нет, хорошо еще, везут московскую твердокопченую колбасу, будут ее грызть, пока глава семьи не изыщет способа переправить их к себе.

Позже мы шли по опустевшим улицам, мимо погружающихся в сон домов, то и дело огибая высокие сугробы из пестрых синтетических пакетов: бастуют дворники, а домохозяйки собирают кухонный мусор в пакеты и выкидывают их прямо на тротуар.

Кудрявцева пробует сосредоточить мое внимание на архитектурных особенностях квартала, прилегающего к нашей гостинице, но я никак не могу избавиться от назойливой мысли: уж не забыли ли дома в суматохе отъезда вылить мне вслед воду?

И тут, словно сговорившись, мы одновременно вспоминаем, что раза три-четыре проезжали мимо фонтана Треви, но ни я, ни Кудрявцева почему-то не останавливались и денег в кипящие струи не кидали...

Несмотря на позднюю ночь и валящую с ног усталость, я все-таки пробую распаковать чемодан в номере, теперь уже кажущемся мне склепом: четыре шага в длину, два - в ширину, как только умудрились втиснуть сюда кровать, шкаф, секретер, да еще отгородить угол пластиком, а за ним установить душ и умывальник?

Чертыхаясь в адрес бизнеса, выдавливающего лиры из каждого квадратного сантиметра, кое-как распаковываю вещи: вот темный костюм, вот несколько памятных сувениров из Баку, а вот и небольшой, тщательно обвязанный белым шнуром пакет, как бы вобравший в себя основной смысл моей давно готовящейся сюда поездки.

Смысл этот нужно объяснять долго и подробно, но, чтобы практически облегчить задачу переводчика, я захватил с собой копию одного письма, - завтра буду показывать его тем людям на итальянской земле, которые вызвались нам помочь. Вот это письмо, и, поскольку оно не очень длинное, я бегло перечитываю его вновь.

«В Иностранную комиссию Союза писателей СССР.

Около 15 лет назад, в содружестве с писателем Гасаном Сейдбейли, нами был опубликован роман «На дальних берегах», повествующий о жизненном пути азербайджанского художника и лингвиста Мехти Гусейнзаде, известного в годы второй мировой войны на побережье Адриатического моря под кличкою «Михайло», совершившего беспримерные боевые подвиги в рядах итало-югославского Сопротивления и героически погибшего в бою с гитлеровцами под Триестом.

Роман «На дальних берегах» переведен более чем на 20 советских и иностранных языков, выдержал пять изданий на азербайджанском и семь на русском языках, его общий тираж исчисляется в миллионах экземпляров.

По мотивам романа нами была сделана инсценировка, поставленная в ряде театров, заснят одноименный фильм, обошедший экраны многих стран мира.

Определенную роль этот роман сыграл и в деле посмертного присвоения Мехти Гусейнзаде звания Героя Советского Союза.

Интерес к образу Михайло, названного Л. И. Брежневым в докладе по случаю 20-летия Дня Победы в числе нескольких крупнейших фигур партизанского движения за рубежами нашей Родины, продолжает оставаться очень высоким - этот образ живет в самых широких народных кругах, ему посвящено много поэм, стихов, картин, музыкальных произведений.

Тем не менее мы в силу обстановки, сложившейся в пятидесятых годах в Триесте, не смогли увидеть места, связанные с боевой деятельностью нашего литературного героя.

Сейчас в Баку на одной из центральных площадей воздвигается памятник Михайло, и я обращаюсь к вам с просьбой оказать мне помощь выехать на могилу Михайло, отвезти на нее бакинскую землю и взять горсть земли с могилы, чтобы замуровать ее в пьедестале памятника.

Конечно, эта поездка не будет носить чисто паломнический характер: важно увидеть, как могила прославленного партизана вписывается в современный европейский пейзаж, насколько жива память о нем среди сопротивленцев фашизму, как передается эта память молодежи, а обо всем этом написать через полтора десятилетия, возвратившись к этому образу уже не с точки зрения беллетриста, а с позиции документальной публицистики.

Естественно, что в ходе поездки я выполню все общественные поручения союза, касающиеся наших международных литературных связей».

Так была изложена цель моей поездки, ради которой мы сейчас и находимся в итальянской столице, однако меня упорно гложет какое-то внутреннее беспокойство.

Откладываю в сторону письмо, раздевшись, иду за перегородку умыться.

Откуда это беспокойство? Рим встретил очень уж неожиданно и своеобразно? Наверное.

Так и не удалось выяснить в Москве, где же сейчас находится могила Михайло - в Италии или Югославии (по новой демаркационной линии Триест-то отошел к Италии, а село Чеповани, где он похоронен?). Если в Югославии, то у нас нет туда виз, а оформят ли эти визы на месте?

Нет, обеспокоен я все-таки тем, что днем, заскочив на минутку к нашему генеральному консулу отметить паспорта, на столе в вестибюле консульства случайно обнаружил только что изданный справочник обо всех более или менее известных сопротивленцах: ни на букву «М», ни на букву «Г» я в этой толстенной книге Михайло не обнаружил. В чем дело, упущение со стороны составителей справочника? Или он вообще уже здесь позабыт? Пришло новое поколение, не знавшее и не видавшее войны, и он, чье имя вам с ходу назовет каждый второй советский школьник, оказался всего лишь «ржавым листом со старого дуба», пожелтевшим листом, унесенным в безвестность ветрами времени?

Я перебираю фотографии Мехти, привезенные с собой: снимок со сверстниками из бакинской школы на улице Касума Исмайлова, портретный снимок юношеских лет, когда он учился в Ленинграде, снимок, сделанный во дворе словенской деревушки, где он стоит вместе со своим другом и товарищем по оружию Мирдаматом Сеидовым, тогда носившим боевую кличку «Иван Русский».

Кстати, большой портрет Михайло я видел недавно на празднике 50-летия Советской Белоруссии в потрясающем душу Музее Великой Отечественной войны, где ему посвятили стенд и где, конечно, его забыть не могут. И не потому, что в его интернациональной группе разведчиков были белорусы. Там, где война унесла каждого четвертого человека и где в одном из залов музея, под стеклянным покрытием, лежит земля, зачерпнутая ковшом экскаватора, перемешанная с детскими костями, понимают, что именно память о войне в стократ увеличивает цену мира.

Неужели здесь, в Италии, все иначе?

Но ведь мы приглашены сюда АНПИ - Национальной ассоциацией итальянских партизан, и, судя по письму ее генерального секретаря Роберто Ваттерони, они прекрасно знают Михайло.

Ладно, утро вечера мудренее, посмотрим, что даст встреча в ассоциации.

...Роберто Ваттерони оказался невысоким, начинающим полнеть тосканцем, с тускло отливающими медью редеющими волосами, с пустым рукавом пиджака.

В отличие от многих своих шумных, темпераментных, отчаянно жестикулирующих соотечественников, с которыми нам потом довелось встретиться, Ваттерони сдержан, немногословен, порою даже апатичен, но в эту внешнюю невыразительность уложена тугая пружина мгновенной реакции.

- Не люблю говорить о себе, - морщится Ваттерони, - но сегодня сделаю исключение.

Он зовет в кабинет секретаршу, бросает ей несколько слов, и, пока мы обмениваемся первыми взаимными вопросами и выпиваем по чашечке кофе, секретарша кладет перед нами отпечатанную на машинке короткую справку.

- Возьмите, это обо мне, - говорит Ваттерони, пододвигая мне справку. - В партизанском движении начал участвовать в 17 лет. Награжден золотой медалью «За доблесть». Дрался в Каррарии, в тех горах, куда ходил за мрамором для своих скульптур Микеланджело. В Каррарии свирепствовал нацист Редер, он стер с лица земли Сента-Апу, Эвинку, много беззащитных деревень. Теперь сидит как военный преступник.

- Как вы были ранены?

- Был бой. Нас восемнадцать против тридцати трех. Мы разбили врага, большинство лежало убитыми, остальные обратились в бегство. Один из «убитых» выстрелил, когда я подошел к нему. Я отдал руку, но Полетаев и Заде отдали нечто большее - жизнь.

- Какой Заде?

- Ваш Михайло, - уточняет Ваттерони.

- Гусейнзаде, - говорю я.

- Ну да, Заде Гусейн Мехти, - говорит Ваттерони, доставая из ящика стола тот самый справочник, что я видел вчера в консульстве.

Мне становится все понятным: злополучная наша манера писать раздельно приставки к фамилиям или двойные имена, - и в результате Мехти во всех официальных источниках превратился из Гусейнзаде в Заде Гусейна.

Ну конечно, вот он на букву «З» - убит в селе Витовле, похоронен в селе Чеповани.

Звонит телефон, секретарша снимает трубку и передает ее Ваттерони.

Прижав трубку к уху левым плечом, Ваттерони долго говорит с кем-то.

Среди потока непонятных фраз слышу слова: Михайло, советико... Касумов, Кудрявцева... Затем несколько раз повторенные «чао, чао, грация».

- Это Артуро Калабриа, руководитель триестинского отделения ассоциации, - поясняет Ваттерони. - Он и его товарищи, а в их числе Мария Берентини, встретят вас.

- Мария Берентини? - переспрашиваю я, делая запись в блокноте.

- Замечательная женщина, - улыбается Ваттерони. - Наш знаменитый партизанский комиссар.

Он предлагает осмотреть помещение ассоциации - несколько рабочих комнат, библиотеку, зал заседаний. Организация объединяет участников итальянского Сопротивления. Она выполняет функции содействия им в трудоустройстве, медицинском обслуживании, а также оказывает материальную помощь. Это прежде

всего организация политическая, возглавляемая коммунистами и левыми силами. Правда, обстановка сложная, в ассоциации стремятся укрепить свои позиции и правые.

Не случайно, что прямо напротив помещения АНПИ, в отдельном особняке, расположился римский штаб «МСИ» - неофашистской партии.

- У вас не бывает с ними столкновений? - спрашивает Кудрявцева, усаживаясь в машину и показывая на особняк с желто-зеленым флагом у входа, у которого столпились развязного вида молодые парни.

- Бывают, - усмехается Ваттерони. - Но нас боятся, я же не только коммунист, синьора, но и анархист, - шутливо добавляет он.

Однако во всякой шутке есть доля правды: на то, как он ведет машину одной рукой, пренебрегая любыми дорожными знаками, на бешеной скорости, уклоняясь от встречных машин и обходя справа другие, способна только натура с явным анархическим уклоном.

Впрочем, представить что-нибудь более анархическое, живущее по совершенно непостижимым разуму законам, чем римское автомобильное движение, вообще трудно. Мы шли по средневековым улочкам - ущельям в центре города, по которым автомобиль теоретически не может пройти и в одном направлении, а воочию убеждались, как водители умудряются ехать навстречу друг другу и неизвестно как, но благополучно разойтись в разные стороны.

Автомобильные лавины поистине становятся спонтанной гангреной больших городов, но в Риме, в городе очень старом, испещренном извилистыми жилками узких улиц и переулков, два миллиона машин на три с половиной миллиона жителей - это попросту наказание божье.

На чем все-таки продолжает держаться эта сумасшедшая круговерть? По-моему, на уважении к пешеходу: нам надо было десятки раз переходить улицы, и стоило поднять руку, как послушно замирал густой поток машин, терпеливо ожидая, когда мы соизволим добраться до противоположного тротуара.

Глядишь на римский автомуравейник и проникаешься гораздо большим уважением к малогабаритным машинам - очень дальновидно, что наше отечественное автомобилестроение делает упор на «Москвич» и «Жигули», через несколько лет у нас уже не сыщешь человека, пытающегося отнести их ко «второму сорту».

Условившись о новой встрече, мы прощаемся с Ваттерони, минуем мрачный полумрак длинного пассажа, поднимаемся на лифте.

Нам предстоит беседа в обществе «Италия - СССР» с его президентом Джелазио Адамоли - вот и он сам, энергичный, учтивый седой мужчина, сидящий в углу огромной комнаты, в окружении нескольких своих сотрудников.

Адамоли - коммунист, сенатор, видный общественный деятель, много и плодотворно работающий в области установления контактов между итальянской и советской культурами.

По случайному совпадению он сегодня вылетает по делам в Триест и обещает предупредить там ряд лиц о нашем приезде.

- Альбин Шкерк... Куффаро... Берентини... Калабрия, - диктует он уже знакомые и еще незнакомые нам имена секретарю, видимо составляющему для него памятку.

Адамоли принадлежит выдающаяся роль в установлении дружественных связей между советскими и итальянскими городами, и он, будто раздумывая вслух, перечисляет ряд признаков, по которым в будущем можно было бы побратать Триест с нашим Баку.

- Портовые города, многонациональное население, большой отряд рабочего класса, - говорит он. - За свободу Триеста сражались многие азербайджанцы, сложил голову бакинец Михаиле.

Идея высокая и красивая, хотя осуществление ее, по всей вероятности, потребует определенной взаимной подготовки.

- Успех зависит от позиции новых муниципальных властей, - продолжает размышлять вслух Адамоли. - А сейчас как раз сильно накаляются предвыборные страсти.

Об этом «накале» мы уже получили первые представления: транспаранты «Вота коммуниста», «Вота либерале», «Вота мовименто итальяно социалиста», плакаты, листовки, объявления; на площадях сколочены из досок или сварены из металлических труб трибуны для ораторов на митингах; мчатся агитационные машины с радиодинамиками и рупорами - Италия готовится к выборам в областные советы, и хотя это право оговорено конституцией еще двадцать лет назад, правящие круги, опасаясь появления новых красных точек на политико-административной карте страны, оттягивали выборы любыми способами.

Опять гудение лифта, опять полумрак сводчатого пассажа, поворот - и перед нами раскинулась привокзальная площадь: беспокойное озеро, в которое вливаются бурлящие ручьи прилегающих улиц - стелющийся по земле «ягуар» пытается обойти конный фаэтон с кучером в широкополой шляпе, дребезжащий трамвай пересекает путь роскошному туристскому автобусу, хитроумные рекламные стенды соперничают с зазываниями мелких торговцев, выложивших свой товар на ручных тележках, в ящиках, киосках, а то и обвесив им себя.

Прямо напротив вокзала Термини, изумительного в своем совершенстве сооружения, построенного по принципу отсечения всего лишнего, а потому предельно просторного и мудрого, легко принимающего и отправляющего буквально сотни поездов ежесуточно, - прямо против этого вокзала расположены молчаливые термы Диоклетиана. Стоит подойти к воротам, и взору открывается внутренний дворик, а за ним вместительное помещение бань, со сферическими сосудами для воды и огромными ванными, высеченными из мраморных глыб.

Между вокзалом и термами пролегают не триста метров, а двадцать веков. И так в Риме везде: Виа Венето - «улица сладкой жизни», увековеченная в искусстве, в фильме Феллини, с ее роскошными отелями, зеркальными витринами магазинов, со стилизованными ресторанами и кафе, упирается в замшелую каменную арку. На ней написано: «Марк Аврелий, I век»; бесчисленные представительницы «древнейшей» профессии, изрядно потрепанные и совсем юные, красивые, безобразные, наглые, робкие, вечерами алчущими стайками собираются вокруг форумов римских императоров и вдоль городских стен, пожалуй не уступающих в возрасте их ремеслу; в непосредственной близости от величественных развалин сената воздвигнуты павильоны выставки новейших образцов бытовых электроприборов, и это, конечно, непередаваемое ощущение: смотреть на неоновое табло с изображениями пылесосов, полотеров, кондиционеров, электробритв, а самому стоять на тех ступенях, на которых был убит Цезарь.

(Кстати, слова «И ты, Брут» все же принадлежат фантазии Шекспира, а не историческому факту: по записям Плутарха, Цезарь в схватке с убийцами оглянулся, увидел надвигающегося на него сзади Брута и выразился трагичнее: он молча поднял подол тоги и закрыл лицо, чтобы не видеть предательства. Именно так последняя минута Цезаря воспроизведена и в старинной вышивке, увиденной нами позднее в Ватиканском музее).

Видимо, думы о тугой спрессованности и быстротечности времени не минуют каждого, кто побывал в Риме: наглядное обозрение двадцати веков западной цивилизации не может не родить мысль, что в переносе на человеческую жизнь, даже если взять продолжительность жизни всего в пятьдесят лет и расставить ее в последовательном порядке, представится всего сорок человек - один взвод, четыре колонны по десять единиц в каждой: всего лишь крохотная горстка предков.

Такая «спрессованность» проявляется порою совершенно негаданно. Мы обедали у Бочарова, и я пошел с ним в ванную комнату помыть руки. В ванной под потолком чернел водяной бак, и хозяин дома пожаловался, что в Риме не хватает воды, приходится ею запасаться.

- А откуда вода вообще? - спросил я.

- Из Тибра, по водопроводу, - ответил Бочаров. - Кроме того, по акведукам, которые были построены еще во времена Римской империи.

Мы ездили в Риме на такси, автобусах, троллейбусах, и вдруг, спустя несколько дней, я спохватился: почему не пользуемся метро? Оказывается, по элементарной причине его отсутствия (если не считать коротенькой линии, проходящей под Колизеем).

- Пробовали построить, - сказали мне. - Но проходчиков ждала участь превратиться в археологов: под городом лежит другой город, ушедший под землю, острия буров сразу же уперлись в уникальные исторические ценности.

Действительно, реликвиями разных эпох - от древнего Рима до наших дней, а особенно бессмертными творениями мастеров Возрождения - ваятелей, живописцев, зодчих, могучими голосами спевших великий гимн Человеку, - итальянская столица перенасыщена, как говорится, до отказа: миллионные толпы людей со всего света устремляются к арене Колизея, ходят по трибунам, влезают в кельи гладиаторов и останавливаются перед обелиском «Всем павшим»; они осаждают собор святого Петра в жажде увидеть работы Бернини над папскими усыпальницами и спешат удостовериться, правда ли, что большой палец ноги черно-мраморного Петра наполовину стерт поцелуями верующих; они замирают перед полотнами Боттичелли и, высоко задрав головы, не отрывают взгляда от непревзойденного чуда Микеланджело - росписи Сикстинской капеллы. Человеку свойственно преклонение перед прекрасным, хотя я и видел американских туристов, респектабельных и пожилых, но вглядывающихся не в купол капеллы, а с хихиканьем щелкающих фотоаппаратами вокруг кресла без сиденья, на которое сажают папу после избрания (якобы во избежание повторения ошибки, когда одним из пап была выбрана женщина, в это кресло начали сажать каждого нового папу, дабы кардиналы могли убедиться, что их новый глава не кто иной, как мужчина). Увы, каждому свое.

Тем не менее, если абстрагироваться от истории и шедевров искусств, можно легко заметить, что потомки древних римлян ныне обитают в общем-то не ахти каком большом городе, да еще и в хаотичном и с адскими неудобствами: контрасты между роскошью особняков и убожеством, непролазной грязью окраинных трущоб не поддаются описанию. В Риме не хватает воды, света, в еще большей степени - жилья. Слова «Вся Италия - на колесах» нередко означают, что единственная крыша над головой автомобилевладельца - это крыша его потрепанной машины.

Будем объективны, за последнее десятилетие в Риме воздвигнуты жилые массивы, кварталы, даже целые районы, привлекающие экономной выразительностью, индивидуальностью архитектурных решений, с мастерским использованием внутренних дворов и подвалов для стоянок машин, однако, как правило, окна целых этажей этих новостроек остаются наглухо закрытыми ставнями - слишком дорого, можно любоваться только издали.

Мы идем с Кудрявцевой в сторону гостиницы, и на этот раз я более внимателен: район, прилегающий к нашему «Буэнос Айресу», перестроили во времена Муссолини, в нем и сейчас живут его бывшие чиновники. Здания, воздвигнутые в большинстве случаев приближенным дуче - архитектором Капеде, сменяются одно другим, неуклюжие, громоздкие, затмевающие друг друга своей помпезностью. Насчитываю десятки ничем не связанных элементов на одном фасаде: тут и портики, и арки, и эркеры, лоджии, башни и террасы (если архитектура - застывшая музыка, то от таких пронзительных диссонансов могут лопнуть барабанные перепонки). Может быть, это сугубо личное впечатление, но некоторые из этих зданий напоминают облик самого дуче - тяжелая челюсть, оттопыренная губа, нахмуренные брови, крикливая одежда. Приходится горько вздыхать, что строительный зуд Муссолини не ограничился одним этим участком. Одолеваемый страстью увековечить свою «эру», он строил везде и много, но прошло всего четверть столетия, а на стадион, долженствовавший стать чем-то вроде Колизея, теперь ходят отнюдь не любоваться его архитектурным изяществом, - попросту футбольный матч собирает множество зрителей, а здесь вместительные трибуны.

Впрочем, не будем тратить драгоценные минуты, оглядываясь назад; впереди нас ждет обед у Карло Леви, надо быстро переодеться.

...Карло Леви, писатель и художник, автор книги «Христос остановился в Эболи», живет на одном из семи римских холмов, в обветшалом доме, в котором кроме него живет еще несколько семейств. Перед окнами, за сетчатым вольером, расхаживает не то павлин, не то фазан. На фанерной дощечке над каменными ступенями нацарапано карандашом «Леви».

Мы входим в тесную прихожую, а из нее - в просторный с высоким потолком холл, напоминающий палубу корабля: деревянные ярусы вдоль стен, соединяющие холл с крохотной столовой, двумя спаленками и кухней на втором этаже, огромное, на всю высоту холла, окно, выходящее в сад. Мольберты, готовые и начатые картины, кувшины, завядшие букеты цветов и трав, сваленные на стол пучки зелени, фрукты и овощи, ковер и несколько кресел - это студия Леви, мастерская и жилище, славящиеся гостеприимством их хозяина.

Леви - милый, приветливый, очень подвижный для своих лет, то и дело надевающий и снимающий очки-велосипед, прикрепленные цепочкой к жилету, - первыми же фразами устанавливает атмосферу полнейшей непринужденности.

Он живо интересуется вестями от своих московских друзей писателей, спрашивает об азербайджанских художниках, в частности о побывавших у него до меня Салахове и Абдуллаеве, одобрительно кивает, узнав о цели нашего приезда.

- Война - это кровь, смерть, слезы, голод, но это и величайшая человеческая солидарность перед лицом врага, - задумчиво произносит он. - Единство, сплоченность... Вот мы ругаем молодежь, а вместо ругани гораздо полезнее рассказывать о таких, как ваш Михайло, не правда ли?

Я согласен с ним не на сто, а на тысячу процентов, под самой лохматой шевелюрой укрыт мозг, а под самой вульгарной пестрой рубашкой - бьется сердце, а для юных мозга и сердца нет более питательного средства, чем возвышенный, вдохновляющий пример.

- Вы поедете в Триест, - говорит Леви, - повидайтесь там с Видали, капитаном Карлосом. Заодно спросите, почему он молчит: я послал ему портрет, сделанный Сикейросом.

Мы обещаем выполнить эту просьбу, даже не подозревая подвоха, и следуем приглашению Леви подняться наверх, в столовую.

Изрядно проголодавшись, мы налегаем на традиционное спагетти, приготовленное Марио, меланхоличным молчаливым албанцем в белом переднике, совмещающим в доме Леви сто должностей: помощника, эконома, уборщика, повара...

Раздается звонок, потом слышны хрипловатый мужской голос и звонкий женский, скрипят ступеньки.

- Моравиа, - удовлетворенно говорит Леви.

В столовую, чуть прихрамывая, входит Альберто Моравиа с женой Дачей Мараини. Он просит извинения за опоздание: был просмотр фильма, снятого по сценарию Дачи, продюсер попросил отметить это событие.

Моравиа, этому безусловно наиболее крупному современному итальянскому писателю, уже за шестьдесят, Даче - миловидной женщине в брючном костюме цвета хаки, с перекинутой через плечо сумкой - вдвое меньше.

- В ее годы я не написал и половины того, что написала она, - представляет жену Моравиа. И в голосе его слышна нотка гордости.

Он присаживается, складывает руки на столе, и я замечаю, что у него, знающего себе цену художника, избалованного долговременной славой, - большие, сильные рабочие руки.

Он действительно человек колоссальной работоспособности: пишет прозу, пьесы, статьи, эссе, выступает, путешествует.

- Вот закончил серию рассказов, двадцать четыре портрета женщин, - говорит он.

Кудрявцеву это интересует не только по-читательски, она еще и издатель, изъявляющий готовность ознакомиться с этой серией и дать ее в переводе на русский язык в «Иностранной литературе», с чем Моравиа соглашается с большой готовностью.

- А что, если я приеду к вам? - неожиданно спрашивает Моравиа.

- Милости просим.

Моравиа задумывается.

- Могу написать серию статей для еженедельника «Эспрессо», - размышляет он и снова бросает испытующий взгляд на меня: - Не боитесь, что я напишу и о ваших недостатках?

- Нет, - отвечаю я. - Мы ведь строим, а там, где строят, порой стоит облако пыли.

- Да, есть, конечно, разница: пыль от разваливающегося здания и пыль от вновь воздвигаемого, - медленно произносит Моравиа. - Существует один эталон для подлинного литератора - правда.

- И совесть, - добавляет Кудрявцева.

Моравиа кивает головой.

Мы весьма неопределенно договариваемся о сроках такой поездки, остановившись на часто употребляемой резиновой формуле «в удобное время», но более определенно о местах, где хотелось бы побывать: в самом Баку, на Нефтяных Камнях («крайне любопытно!»), в городе, где средний возраст жителей не превышает тридцати лет («вот, вот, Сумгаит!») и там, где наскальные изображения первобытных людей («была такая публикация в итальянских журналах»).

У нас недаром говорят, что беседа подобна мешку с зерном: если порвется, то утекает незаметно. За окном темнеет, а мы все разговариваем. Моравиа парадоксален в суждениях, зачастую бросается из одной крайности в другую, сознательно загоняет спор в тупик, дойдя до которого надо бы встать и распрощаться, но многоопытный лоцман - Леви уверенным движением выпрямляет все крены. Милый, неиссякаемой энергии Леви - в его энергии и последовательности в искусстве я убедился еще раз позже, раскрыв дома газету и прочитав, как он, семидесятилетний почтенный сенатор, отправился в небольшой городок Фавиан и, забравшись на мостики, написал портрет знаменитого общественного деятеля своей страны ди Витторио на стене местной школы.

Проведя несколько часов у Леви, мы заканчиваем вечер русским чаепитием (правда, с самоваром электрическим) в доме Николая Ивановича Тимофеева, советника нашего посольства.

С ним и его женой мы выходим в парк, принадлежащий посольству.

Почти черное небо усеяно пригоршнями по-южному крупных и ярких звезд, к небу трепетно взметнулись длинные тела тополей, горит свет в окнах. На дорожках и тропинках парка слышны негромкие голоса: «Сеня, вылезешь ты сегодня из гаража... Заходите попозже с Петром Александровичем... Лена, ребенок-то уснул?.. Сейчас, Костя...», - кусочек Отчизны, маленький родной кусочек, а за ним переливающееся цветное зарево стольного града чужой земли, на которой будто стоит вопль раздирающих ее чудовищных противоречий; земли, на редкость щедро одаренной природой, но не могущей прокормить всех своих детей; государства, способного бросить вызов в некоторых областях индустрии американцам и японцам, вместе взятым, но не способного выбраться из лачуг; страны, увековечившей в искусстве свободу человеческого духа и одновременно ставшей центром его религиозного порабощения; края, про благодатный воздух которого сложены легенды, такие же справедливые, как и тот факт, что сам он страдает тяжелой астматической одышкой.

Николай Иванович изучил эту страну и может часами делиться впечатлениями о лихорадочных скачках ее экономики, говорить о ее политике, социальной борьбе, нравах, свободно развивая каждый из этих аспектов в целое исследование.

Для меня каждый из них - бездонная шахта с не поданной на-гора породой. Одно утешение, что есть знакомая штольня в этой шахте -партизанская борьба в дни войны.

- Что ж, - улыбается Тимофеев, - продвигайтесь по знакомой штольне, но она не изолирована, и ваша писательская лампочка заодно будет высвечивать кое-что вокруг.

- Может быть, - беспомощно развожу я руками. - Но в свете этой лампочки мои видения будут...

Я умолкаю, ища определение поточнее.

- Разрозненными? - подсказывает Кудрявцева.

- Случайными? - вставляет Тимофеев.

- Мозаичными, - наконец говорю я.

(Там, на дорожке парка, на холме, я еще не думал, что нашел название для этих записок...)

В воскресенье, заручившись накануне по радио обещанием хорошей погоды (а климат повсюду продолжает меняться, - в нынешнем году и в июне еще не купальный сезон на пляжах Тирренского моря), мы едем в Неаполь с Гомером Багаутдиновым - приветливым молодым сотрудником Бочарова - на его видавшей виды белой «примуле».

Нам бы следовало сразу выехать на удобную автостраду, но мы делаем изрядный круг - как не взглянуть на Аппиеву дорогу, ту самую, по которой шел на Рим во главе восставших рабов Спартак, ту самую, что потом, после подавления восстания, вплоть до Капуи, где оно начиналось, правители империи обсадили дыбами с телами повстанцев, задав неслыханный пир хищным зверям и птицам?

Дорога вьется мимо городов, деревень, полей и виноградников. По ней шли и современные спартаковцы - сопротивленцы, восставшие в годы, когда ось «Берлин - Рим - Токио» силой танков и пушек пробовали объявить осью, вокруг которой должна вращаться вся планета.

Вдали, в горах, они в конце концов покончили с Муссолини, а надо было бы повесить его именно на этой дороге, и сразу, не дожидаясь, пока его поначалу сумеет выкрасть гитлеровский головорез Отто Скорцени. Повисел бы под солнцем на Аппиевой дороге, доказывая, что история дважды не повторяется.

Новую страницу в историю здесь, на итальянской земле, вписали и советские люди: Полетаев - на юге, Фере Муселишвили - на севере, Михайло - на северо-западе. Некоторые из них живы-здоровы: уже упомянутый Мирдамат Сеидов - ныне офицер бакинской милиции. Микаил Кулибеков - сейчас профессор в Кировабаде, здесь дрались азербайджанцы Акимов, Исаев, Султанов, достойно выполнившие свой воинский долг, но я сейчас говорю о тех, кто во имя счастья других отдал жизнь.

Каждый глоток воздуха и каждый съеденный кусок хлеба напоминают о том, что мы, живые, - вечные должники этих мертвых.

Издревле принято: «о мертвых - хорошо или ничего», но вот наша «примула» пролетает мимо города Монте Кассино, в котором под удары колокола хоронят генерала Андерса. Он умер на днях в Лондоне и завещал похоронить себя в Монте Кассино, где находился штаб его армии во время войны. Хоронят того Андерса, чью армию мы вооружали, кормили, одевали и обували, не сомневаясь, что она пойдет освобождать Польшу вместе с советскими войсками. Выплачивая долг, Андерс вместо того, чтобы продвигаться к линии фронта, прополз через Баку в Среднюю Азию, переметнулся в Иран, потащил оттуда свое войско в другие ближневосточные страны, а затем на промежуток между носком и голенищем итальянского сапога, уже открыто демонстрируя, что он совершенно иначе видит будущее Польши. Он кончил стандартно: стал мертвецом задолго до физической смерти, и похоронный звон колокола в Монте Кассино лишь напоминает о другом законе истории - невозможности повернуть ее вспять.

Судорожные попытки заставить колесо времени все же вертеться назад особенно видны в эти дни лихорадочной деятельности «мальчиков Альмиранте» - юных и великовозрастных членов неофашистской партии. В полдень мы въезжаем в Неаполь и останавливаемся: улица перекрыта, стоят полицейские на площади, подняв свой флаг, митингуют фашисты.

Они пока осторожны, они пока взывают к духу далеких предков, они пока обещают и обещают: «сильную руку», устанавливающую порядок и добивающуюся всеобщего благоденствия, - авось кто и клюнет. Но демагогия - это внешний фасад, а на подворье - тайные склады оружия, планы насильственного захвата власти в квартире князя Боргезе.

Долго витийствуют ораторы, и отношение к их витийству, надо сказать, разное: есть слушающие, есть зевающие, а есть и такие, которые выжидают в переулках и подворотнях удобной минуты, чтобы накостылять этим молодчикам шею.

Тем не менее видеть все это горько, тем более что фашистский митинг происходит буквально в двух шагах от набережной, где установлен памятник Гарибальди и памятник освободителям Неаполя от фашизма (выполненный в несколько абстрактной манере скульптором Маццакуроти и состоящий из четырех композиционных элементов, он напоминает о четырех незабываемых днях 1944 года, когда неаполитанцы поднялись на решительную схватку с самым страшным бедствием современности).

Горечь увиденного в первые минуты не дает нам сразу переключиться на восторг перед неаполитанскими красотами, хотя Неаполь и вправду очень красив: лазурь залива с темнеющими вдали очертаниями острова Капри, белоснежные отели и пансионаты, амфитеатром спускающиеся к морю, контуры Везувия с его дымящейся шапкой.

Мы едем в Геркуланум и Помпею, с головой окунаемся в тишину ушедших веков, бродим по улочкам и заглядываем в жилища начала нашей эры, чтобы через несколько часов вновь вернуться в шумный сегодняшний день, в прогреваемый яркими солнечными лучами, брызжущий красками Неаполь.

Давно, когда мне было лет пять, в Баку приезжал Горький. Он стоял на горе, где теперь Нагорный парк и памятник Кирову, и мой город показался ему похожим на Неаполь. Сравнение было настолько точным, что везде повторяется и ныне, хотя с тех пор Баку раза в три перерос своего средиземноморского близнеца.

В маленькой лавочке, торгующей сотнями разных товаров, я покупаю цветные открытки с чудесными неаполитанскими видами: яхты в заливе, кони Клодта на площади (точно такие же, как на Фонтанке в Ленинграде), изумительный норманнский замок, но одно дело - рекламные открытки, другое - гораздо более многоликая реальность: есть и яхты, но есть и район Санта Лючия, с рваным бельем на веревках, рахитичными детьми с голодным блеском глаз, изможденными женщинами в грязных кофтах - у северян беднота хоть как-то укрыта стенами, а тут выплескивается наружу с вызывающей обнаженностью.

И есть песни - нежные, пленительные, очаровательные неаполитанские песни, но есть и речи на митингах, которыми нас встретил тот же Неаполь.

Мы возвращаемся в Рим по отличному бетонному шоссе, прочно пристроившись к хвосту мчащегося впереди автобуса.

- Опаздываем, - обеспокоенно бросив взгляд на ручные часы, говорит Кудрявцева.

- Всегда торопимся и всегда опаздываем, - усмехается Гомер.

Да, не претендуя на оригинальность, но чуть ли не хором мы признаемся, что не живем дня без спешки: летим на «Ил-18» из Баку в Москву за три с половиной часа, но нам это много - давайте «Ту», что летит за два с половиной. И все равно, ерзая в кресле, нервничаем, куда-то не успеваем. А вчера еще одолевали этот же путь на перекладных за месяц с лишним и, как ни странно, всюду успевали.

- Ага, некоторые к тридцати годам даже успевали написать тома поэм и стихов, - без малейшего сарказма произносит Гомер.

- Так хочется ехать на перекладных, - тихо вздыхаю я.

Но мы в «примуле», а она старается не отстать от автобуса, летящего со скоростью болида.

На заднее стекло автобуса приклеен плакат, настойчиво ставящий нас в известность, что на итальянских дорогах каждые 13 минут происходит катастрофа.

Тем не менее Гомер благополучно высаживает нас в вечернем Риме, возле громады собора Санта Мария Марджори за несколько минут до условленного часа свидания с Гоффредо Парезе.

...Парезе - видный представитель молодой поросли итальянской литературы, романист и эссеист, - коренастый, с сильной шеей и энергичными движениями, больше похож на боксера полусреднего веса, чем на литератора. Я читал его «Хозяина», и у меня такое чувство, что мы давно знакомы, а Парезе усиливает это чувство своей непринужденностью.

Должен сказать, что вообще итальянцы (исключая, конечно, «верха», где общение течет в узких каналах светских условностей) общительностью и гостеприимством очень напоминают азербайджанцев: стоит перешагнуть порог, как через несколько минут ты в доме уже свой, тебя спешат представить и парализованной бабушке, и младенцу в люльке, тебя хлопают по плечу и поскорее усаживают за стол, на который вываливается буквально все, что есть в буфете и холодильнике, тебя посвящают во все семейные истории, с тобой делятся мечтами и надеждами, поглядеть на тебя зовут соседей, - короче говоря, войди в дом простого итальянца, чтобы вновь убедиться в покоряющей силе азербайджанской поговорки «гость в доме - самая большая радость для хозяина».

Правда, Парезе и его жена - высокая, изящная женщина, художница по профессии, - зовут не домой, а ужинать в ресторанчик, да и шлягером всего вечера проходит тема серьезная и тревожная: Парезе только что вернулся из длительного путешествия, был в Камбодже, Лаосе, Таиланде.

На террасу ресторанчика, уютно обогреваемую электроплитками, заглушая журчание итало-франко-английской речи за столиками, врываются звуки свистящих пуль, грохот бомбовых разрывов, гул пикирующих самолетов; перекрывая пряные ароматы соусов, жареной рыбы, апельсинов, доносятся гаревые запахи далеких пожарищ.

Далеких ли?

- Очень близких, - подтверждает Парезе. - За углом.

Но я имею в виду не только географию и ничтожность расстояний при теперешних скоростях, но и близость временную: Парезе не настолько уж юн, чтобы в его мозг-- пусть тогда детский - навсегда не врезалась первая половина сороковых годов. А, может, это и не суть важно: следы войны в Италии - не только ноющие в непогоду раны ветеранов, но и раны, рубцы, шрамы на всем теле страны.

Эти багровые шрамы заставляют Парезе оставить письменный стол и отправиться на другой континент, чтобы тем оружием, что дала ему природа, - оружием слова помочь локализовать и ликвидировать свирепствующую там чумную эпидемию агрессии?

Писатель задумчиво счищает кожуру с апельсина, но вот мимо террасы, возвращаясь откуда-то домой и оживленно щебеча, проходит буйная школьная ватага, сопровождаемая старым учителем в длиннополом плаще.

Появляется худощавый, долговязый парень в комбинезоне - он поливает из резинового шланга клумбы левкоев и высаженные вдоль тротуаров кипарисы.

Да, чтобы растить людей, сажать цветы, деревья, нужно неистово топтать каждую вспышку военного пламени, вне зависимости от деления на расы, вероисповедания, убеждения. Тут разночтений между элементарно честными людьми нет и быть не может.

К важным коммуникациям в битве против этого пламени относится литература о прошлой войне, и здесь я позволю себе сделать одно читательское замечание к тому, что вольно или невольно делается писателями.

Мне довелось прочесть множество высокоталантливых книг, написанных в разных странах, в которых воссоздаются картины ужасов недавнего прошлого - гестаповские застенки, концлагеря, печи-душегубки, описанные во всей своей неумолимой правдивости, - книг, направленных к изобличению звериной сущности фашизма. Эмоциональное воздействие этих вещей огромно, однако, будучи выстроенными в ряд, они могут привести к неожиданному результату - к смирению, капитуляции духа перед любой угрозой повторения этих ужасов.

- Почему? - быстро спрашивает Парезе.

Только потому, что во многих этих книгах хорошие, добрые, мирные люди, попавшие под фашистские жернова, лишены героического начала.

- Поэтому вы вновь и вновь возвращаетесь к Михайло?

Да, поэтому.

Еще давно мне прочли в Баку два письма Михайло, посланные с огневых позиций Сталинградского фронта, из которых явствует, до чего ненавистна ему война: не будь ее, он писал бы картины или учил детей языкам. Он был сугубо мирный человек, и надеть шинель его заставил враг. Но, став солдатом, Михайло не поднимал покор-

- но вверх руки, он дрался, проявляя исключительное мужество.

- И вас художественно влечет исключительность та кой натуры?

Как раз наоборот. Михайло - не исключительная, а типичная натура, принявшая эстафету борцов нашей великой революции, несущая в себе мощный заряд исторической и социальной правоты, он солдат, неукротимость которого определяется пониманием, что он дерется за мир и справедливость.

- Очень точно было тогда названо все это движение Сопротивлением, - говорит Парезе.

Да, это точное и емкое слово, над его смыслом надо не уставая раздумывать сегодня: слыша автоматные очереди во Вьетнаме, видя базы НАТО в Италии или читая на плакате, наклеенном на столбе террасы нашего ресторанчика: «Вота МСИ».

Мы уславливаемся с Парезе вновь выкроить вечерок и побеседовать, но уже в Москве, куда он собирается, и выходим к памятнику королю Виктору Эммануилу - грандиозному и на фоне окружающих подлинных шедевров довольно-таки безвкусному архитектурному комплексу.

Еще относительно рано, и я прошу Кудрявцеву отыскать местечко, чтобы попить чаю - мне, как азербайджанцу, он необходим буквально днем и ночью, а в Италии (кстати, так же, как и во Франции) категорически опровергается утверждение, что в странах, производящих вино, негде выпить чаю: в любом заведении, пусть оно называется баром или кондитерской, вам мгновенно подадут этот божественный напиток, ну прямо как в нашей лучшей чайхане, только не в стаканчиках «армуду».

Мы долго сидим за столиком, устланным клетчатой скатертью и вынесенным прямо на тротуар, а перед нами, словно в детском калейдоскопе (приложи к глазу трубку, вращай ее, и на другом конце возникнут всевозможные мозаичные рисунки), радужно переливается ночная площадь: рассыпается мелкий красный бисер стоп-сигналов одного автомобильного потока, светло-желтый, покрупнее, - встречного, вспыхивают витрины магазинов, шныряют лучи прожекторов, сходятся, расходятся и вновь сходятся люди - оживленные, усталые, спешащие.

Близится полночь. Трубочка вертится все медленнее и медленнее. Странно, но Рим засыпает рано.

Тоже странно, прошло всего несколько дней, а мы уже как-то привыкли в Риме, а завтра продолжим это обвыкание: поезда еще не ходят.

Завтра с утра зарядит дождь - холодный, не весенний, с глухими громовыми раскатами, а мы поедем снова в АНПИ, к Ваттерони, где он расскажет нам новые эпизоды из партизанского прошлого страны и напомнит, что нас с нетерпением ждут в Триесте.

То же самое подтвердит и сенатор Адамоли, возвратившийся оттуда: нас будут встречать.

Послезавтра развиднеется, мы скинем плащи и окажемся в круговороте новой спешки - то надо в посольство, то к писателям, а в перерыве даже успеем бросить взгляд на другое государство, правда, не пересекая его границ, а из галереи музея - за этой галереей, в том же Риме, расположено другое самостоятельное государство - Ватикан: гвардейцы на постах, административные здания, в которых работает огромное количество разных чиновников, папский дворец на лужайке, окаймленной деревьями старого парка.

Потом пройдет еще день, мы будем в Центральном Комитете компартии Италии. Нам, к сожалению, не удастся повидать Луиджи Лонго (мы познакомились с ним еще в 50-х годах, когда он отдыхал в Москве и, будучи одним из главных участников итальянского Сопротивления, смог многое рассказать о характере этой борьбы): он болен, мы встретимся с другими членами руководства партии, а к вечеру, в гостинице, портье подаст конверт, - в нем письмо секретаря ЦК Армандо Косутты, сообщающего, что триестинской организации партии поручено принять нас и оказать помощь во всех делах.

К письму приложена записка, что завтра нас ждет Пайетта. На следующий день, петляя на «мерседесе» по фантастическому лабиринту улиц старой части города, мы выбираемся к зданию итальянского парламента.

...Джанкарло Пайетта - один из секретарей ЦК партии и главный редактор газеты «Унита». На его бледном усталом лице печать той неимоверно тяжелой ноши, которую он несет.

Мы сидим в тесной депутатской комнате, и, расслабившись в кресле, полузакрыв глаза, Пайетта явно дает себе передышку между жаркими парламентскими дебатами.

Он осведомлен о цели нашей поездки, ведь впервые со статьей о подвиге Михайло выступила «Унита», поведавшая миру, что партизанский разведчик, действовавший под этой кличкой, - не миф, а советский парень с Кавказа Мехти Гусейнзаде.

- Уже после этой статьи начали появляться и другие печатные материалы о его боевой деятельности в итало-югославском корпусе, - приоткрывает глаза Пайетта.

Да, мы просматривали эти материалы в Ассоциации.

- Чем дальше от этих событий, тем они становятся отчетливее и рельефнее, - снова закрыв глаза, задумчиво произносит Пайетта.

- Конечно.

От Сопротивления к писателям, пишущим о нем, от этих писателей - к тем, с кем мы встречались, от них - к политическим проблемам накануне выборов, - мы перебираем множество тем, и, наверное, потому, что это собеседование происходило в стенах государственного учреждения, я сбиваюсь на протокольный стиль и, выйдя из парламента, говорю Кудрявцевой:

- Что ж, переговоры в духе уважения и понимания?

- Вполне, вполне, - добавляет она.

Правда, когда мы поднимались с кресел, была деталь, на которую мы вначале никак не среагировали: Пайетта попросил записную книжку Кудрявцевой и, черкнув буквально два слова на чистой странице, поставил под ними свою подпись.

- Может пригодиться, - улыбнулся он.

Она положила книжку в сумку, и только на следующей неделе обстоятельства заставили нас уразуметь, что Пайетта дал нам совсем не автограф на память.

Но это произошло потом, а пока пройдет еще несколько дней, мы будем продолжать встречи с писателями, убеждаясь в железном правиле: чем прогрессивнее тот или иной писатель, тем больше он обеспокоен сгущающейся тучей войны, поднимающейся из-за океанских горизонтов. Не дать этой туче разрастись, уберечь, обезопасить Старый Свет - для них проблема номер один.

Мы вновь будем перелистывать архивные папки и подшивки газет, книги о Сопротивлении, пойдем смотреть новый фильм Антониони «Забриски Пойнт», в котором так мало от старого Антониони, посвятившего себя исследованию сферы подсознательного, и так много Антониони нового - страстного обличителя империалистической Америки, мужественно предостерегающего мир от атомной катастрофы.

Фильм этот вызвал истерический вой в Пентагоне и Голливуде, надеявшихся именем художника полить воду на свою мельницу, а получивших прямой удар в солнечное сплетение, и я бы дорого дал, чтобы взглянуть после просмотра фильма на некоторые лица, ну, скажем, лицо Вигорелли, - приближаясь к кинотеатру, мы чуть не столкнулись с ним, пожилым, одутловатым лицом, открывающим дверцу своей машины, тем самым поэтом Вигорелли, которому надлежало объединить усилия передовой литературы в качестве президента Европейского сообщества писателей и который сделал все от него зависящее, чтобы эти усилия раздробить, все, вплоть до защиты всяких литературных предателей.

Мы вновь будем ходить по Риму, окажемся возле отеля «Вилла Медичи», а от него спустимся по лестнице к площади Испании (на площадках лестницы - роскошная выставка цветов, прямо на ступенях идет бойкая торговля ремесленными украшениями

и сувенирами), пройдем от площади к дому, где жил Гоголь, войдем в кафе «Греко», где любили посидеть он, Тургенев, русские живописцы-передвижники.

Мы побывали у фонтана Четырех Рек с фигурами Бернини, символизирующими Нил, Дунай, Ганг и Ла-Платту, расположенного напротив собора св. Агнессы, построенного Барромини. (Говорят, что Бернини ненавидел Барромини и в знак пренебрежения к его творению повернул головы своих фигур в сторону - ни одна из них не смотрит на собор, а глядит в окна противоположных домов и отелей, а поскольку в этих отелях останавливаются кинозвезды и прочие ослепительные «секс-бомбы», создается впечатление, что классические символы явно предпочитают раздумьям о душе гораздо более плотские наблюдения.)

Слияния древностей и сегодняшнего модерна, огненные языки реклам и торжественная строгость церквей, забастовки и жаркие споры - все это становится мозаичными узорами, пока не наступает день, когда мы наконец приближаемся к вагонам поезда, отправляющегося с вокзала Термини на Триест.

Как мы попали к этому поезду, остается загадкой: вышли из машины перед вокзалом, пошли по площади и стали у подножки вагона - не толкались, не топали по туннелям, не поднимались по лестницам, снова куда-то не спускались. Это конструктивная особенность вокзала Термини, - его минуешь, совершенно не замечая, что он есть.

Вагон - тоже первоклассный, но хуже наших; купе узкие, умывальник вделан в стену; чтобы взобраться на верхнюю полку, нужна ловкость циркового эквилибриста.

Поезд трогается с места, Рим остается позади, я кое-как взбираюсь на полку под потолком, но еще долго не засыпаю, продолжая разговаривать сам с собой. О чем? О мелочах.

Вот наперед знаю, что чуть забрезжит рассвет, в дверь постучат и внесут поднос с завтраком: чашечку кофе, кусочек масла, булку, джем и еще пропитанные приятно пахнущим раствором бумажные салфетки.

Все это - несущественная мелочь, стоимость такой чепухи не составляет и полпроцента тех денег, что мы заплатили за билет, но это уют, домашние удобства в этом не очень удобном купе.

Как ни отмахивайся, как ни сосредоточивай внимание на гораздо более важном, но высокий уровень обслуживания даже в мелочах нельзя не заметить и в поезде, и в самой посредственной пиццерии, где пиццу мгновенно готовят и подают с такой торжественной улыбкой, будто это не мучная лепешка с овощами, а жаркое из соловьиных языков, и в магазине, где килограмм апельсинов упаковывается в мешочек с таким дивным рисунком, что его порвать жалко.

Стучат колеса на стыках. Наверное, они везде стучат одинаково, и кажется, что поезд миновал не римские пригороды, а пронесся мимо Хырдалана или Баладжар, и я возвращаюсь домой.

Дома мы настолько привыкли к своим преимуществам

И благам, что их не замечаем, - тысячекратно проверено: цену электричества узнаешь тогда, когда перегорает пробка в передней, и по этой аналогии свет своего бытия особенно остро ощущаешь, попав в чужую страну. Ощущение это многослойное. И вот еще один слой: острое желание взять пальму первенства и в мелочах.

В первые послевоенные годы я писал пьесу «Заря над Каспием» и часто встречался с незабвенным Ага Нейматуллой - знаменитым мастером-буровиком, любившим рассуждать не только об огненной жидкости, лежащей в земных недрах, но и о людях, извлекающих ее на поверхность.

Он подзывал на буровой кого-нибудь из своей бригады и, представляя его, обычно говорил:

- Бриллиант, нужна только оправа.

Стучат колеса, стучат, как везде, а в оправе, впрочем, нужно избегать одинаковости: вот, к примеру, совсем недавно в старейшем бакинском нефтяном районе, в Сураханах, открыли рабочую столовую с такими чудесными интерьерами залов, с такой эффектной

отделкой стен, с такой впечатляющей чеканкой, названную «Ритмами огня», что просто не нарадуешься изобретательности архитекторов и художников.

Всего чуть-чуть усилий, чуть больше оригинальности и вкуса, превращая в традицию то, что здесь, в потребительском обществе, составляет неотъемлемую часть коммерции.

Ну да ладно, делаем превосходные вещи, попридумываем и упаковку...

Стук колес вначале раздражает, а потом он же и усыпляет.

...На заре за окном появляется розово-голубая в этот час полоска Адриатического моря, а вскоре мы уже стоим на перроне Триестинского вокзала, в окружении большого числа людей, пожимающих нам руки, обнимающих, весело похлопывающих по плечу. Не успевая отвечать на вопросы, вглядываюсь в лица, чтобы запомнить, кто есть кто. Молодой, черноволосый, похожий на актера Тайрона Пауэра - это Антонио Куффаро, руководитель триестинских коммунистов. Тот, постарше и пополнее, взявший мой чемодан, - Артуро Калабриа, председатель местного отделения АНПИ. Светлый, в очках, говорящий по-русски, - Стоян Петич, редактор газеты. А вот эта размахивающая руками седая женщина и есть Мария Берентини, а точнее, Берентич - она не итальянка, а словенка.

- Аванти! - кричит она по-итальянски. А поскольку это означает «вперед», мы идем по перрону... садимся в машину... входим в вестибюль отеля.

Отель - большой номер, в который я поднимаюсь на минутку, чтобы ополоснуться с дороги, по сравнению с римской каморкой - роскошные апартаменты.

В приподнятом настроении вновь спускаюсь вниз: в холле людей стало вдвое больше, чем на вокзале.

- Они все видели Михайло или много слышали о нем, - объясняет мне Мария.

Здороваемся, знакомимся, проходим к журнальным столикам, стоящим в углу.

И вдруг все умолкают, наступает тишина, а в этой тишине отчетливо слышится голос, произносящий мою фамилию.

Оглядываюсь: возле стойки портье стоят два полицейских.

Портье, явно расстроенный, приближается к нам. Он сожалеет, но нам надо немедленно освободить номера и покинуть Триест.

В чем дело? А дело в том, что приезжать в Триест можно только по визам, а в наших визах Триест не значится. Есть Монфальконе, а это находится не здесь, а в 30 километрах по побережью.

Постойте, нам же совершенно определенно было заявлено еще в итальянском посольстве в Москве, что в визе помечается конечный пункт - Монфальконе, а Триест входит в маршрут как пункт промежуточный.

Полицейские неумолимы: немедленно покинуть Триест.

Можно куда-нибудь пойти, объяснить, сделать дополнительные пометки в визе?

- Нельзя, - говорит Петич. - Триест - запретная зона, здесь граница, военно-морские объекты НАТО.

По сконфуженному молчанию всех остальных можно сделать только один убийственный вывод: близкая к осуществлению главная цель моей поездки уплывает в необозримую даль.

- Аванти, - вдруг решительно говорит Мария, хотя нам теперь уже двигаться не вперед, а назад.

Забрав вещи из номеров, мы понуро выходим на улицу.

- Монфальконе недалеко, мы там неплохо устроим вас, - говорит Куффаро.

- Да, но мне нужно быть не там, а в Триесте.

- Так вы будете в нем, - говорит Куффаро.

- Ваши соотечественники проникали в него в войну, а вы не сможете в дни мира?! - возмущается Мария.

При всей заманчивости, перспектива нелегального проникновения в Триест, признаться, меня озадачивает.

- Будем возить вас как контрабанду, - деловито добавляет Мария.

Но мы все-таки гости, нас нельзя мучить, и Куффаро переходит на серьезный тон:

- У вас нет визы жить в Триесте, но проезжать через него - можно. Вот мы и будем посещать его проездом.

Из подъехавшей малолитражки высовывает голову пожилой карабинер. Мария подходит к нему, что-то говорит, карабинер отвечает.

- Тем более с разрешения представителя власти, - не дожидаясь, пока вернется Мария, замечает Куффаро, кивком ответив на приветствие из отъехавшей малолитражки.

- По коням, - говорит Петич.

Намертво затянувшийся было узел перерублен: дома, наверное, мне вслед все-таки вылили кувшин воды.

Мы усаживаемся в машину, и с этой минуты все окружающее предстает передо мной в двух измерениях: в стремительном течении ленты зримой и параллельном движении другой ленты - первоначальных заочных представлений.

Такое восприятие, через сравнение, естественное для каждого и особенно обостряющееся в путешествии, для меня сейчас приобретает еще и чисто профессиональный характер: это тот долгожданный случай, когда можно проверить, насколько мы были точны с Сеидбейли, когда писали «На дальних берегах», хотя это вещь художественная, а не документальная.

Мы пришли к мысли писать совместно о Михайло сразу, в первый же день, когда в ЦК комсомола нашей республики нам прочитали несколько страниц машинописи, на которых были хронологически изложены захватывающие акты и диверсии Михайло, вехи его биографии и выдержка из газеты «Унита», а затем познакомили с сероглазым смуглым «Иваном Русским» - его напарником, более подробно рассказавшим о своем друге, о себе и о тех, кто был тогда с ними.

Трудно передать охватившее нас волнение, однако, трезво поразмыслив, мы поняли, что написать об этом серию документальных очерков не сможем: помешает скудость фактического материала.

И тогда родилась мысль уйти в привычную нам сферу - в область обобщения и домысла, где факт становится лишь поводом для фантазии.

Так мы остановились на художественном повествовании, и я позволяю сейчас сказать больше того, что сказано в романе, только потому, что на сотнях конференций и встреч, в тысячах читательских писем нам задавался вопрос: выдумано это или было?

Да, безусловно, было. В романе отображены подлинные события и показаны основные действия Михайло и его группы. Вместе с тем много в нем выдумки, большое число участников этих событий объединено в собирательные образы, наделенные вымышленными именами: помнится, как-то в «Известиях» совершенно правильно было отмечено, что черты «Ивана Русского» воплощены в романе на «Дальних берегах» в образе Василия, а в одноименном фильме - в образе Веселина. Верно и то, что Анжелика объединяет в себе черты Милки, Катри и других связных, Ферреро - собирательный образ целой плеяды отважных командиров гарибальдийских соединений, а Карранти - не одного и не двух диверсантов, затесавшихся в эти соединения.

Группа Михайло, входившая в разведотдел 3-й бригады, в свою очередь входящей в один из партизанских корпусов, была образцом интернационального братства; в ней слились в одну семью итальянцы, русские и словены, венгры и французы. И мои земляки-азербайджанцы.

Погибший Михайло навсегда остался здесь, остальные после победы разъехались, продолжают жить в бесконечном многообразии мирных дней, и жизнь их складывалась потом по-разному: один вознесся на высокие вершины науки, другой ограничился руководством самодеятельными кружками в районном Доме культуры, третий остался вне активной деятельности, воюя с недугами и незаживающими ранами, четвертый - прельстился посулами рая за океаном, а кончил... Не об этом речь, тогда, в грозную

годину, они были в этих вот горах, подступающих к берегу этого вот моря, они были рядом с Михайло.

И не случайно, что в эти годы Михайло почти невозможно было увидеть одного - с ним постоянно находился «Иван Русский», другие ребята, они вместе взорвали вот этот «зольдатенхайм».

Машины останавливаются возле массивного здания с большими окнами: так и есть, если идти от дворца Револьтелло, завернуть вправо, выйти на Виа Гегга, оно окажется справа. Такое же, как нам оно и представлялось, или почти такое - больше в ширину, чем в высоту.

Это сюда, в здание, битком набитое гитлеровцами, в форме немецких офицера и солдата вошли Михайло и Иван, провели здесь несколько часов и ушли, оставив сумку.

- От дома остался только обугленный остов, - говорит Мария.

Я стою на противоположном тротуаре, никак не удается прикурить сигарету, - то ли ветер, то ли дрожит рука.

- Его реставрировали, и сейчас в нем размещена городская консерватория, - добавляет Мария.

Я не отрываю взгляда от лепных украшений на фронтоне, мемориальной доски на углу, от юношей и девушек у входа, может быть совсем не часто задумывающихся о том, ценою какого мужества и отваги они получили возможность отдаться служению искусству музыки в том здании, где им уготовлялась мучительная, медленная смерть.

Мы все молчим, слова излишни, и так же молча провожаю взглядом из заднего окна машины исчезающую за поворотом нынешнюю триестинскую консерваторию.

Улицы, площади, перекрестки - по ним мысленно ходили мы с Сеидбейли, и они такие, как в нашем романе, или почти такие: поручни, чтобы держаться за них, когда ветер, трамвайчик, уходящий на окраину города.

На этой окраине, в Опичине, состоящей из рядов низких домиков с палисадниками, прерываемых прямоугольниками и кубами высоких новых строек, возле продуктового магазинчика нас встречает пожилой, в серой фланелевой рубашке и черных брюках веселый итальянец.

Он ведет нас к приземистому строению, залепленному цветастыми афишами фильмов, к принадлежащему ему кинотеатру «Чине Эстиво», и обрушивает на нас дождь острот и шуток, но, войдя с нами внутрь помещения, умолкает, как бы подчеркивая торжественную строгость момента: пожалуйста, вот это тот самый кинотеатр, который пустили на воздух Михайло и Иван. Как обычно, пробрались через рощу в дом Милки в ближнем селе Репнич, теперь именуемом по-итальянски Рупин-Пикколо, переоделись у нее в немецкую форму, потом пришли сюда на сеанс для гитлеровцев. Они ушли, не дождавшись конца сеанса, будто фильм показался им скучным или будто видели его уже, оставив на сиденье кресла толстый портфель с положенной в него взрывчаткой.

Через несколько минут кинотеатр стал грудой развалин, а сидящие в зале - горой трупов.

- Ваш Михайло нанес мне крупный материальный ущерб, но я простил его уже тогда, когда прибежал на грохот взрыва, - говорит итальянец, намекая, что он бессменный владелец этого кинотеатра.

Мне сказали потом, что он прихвастнул, но владел он кинотеатром и раньше или не владел, в его словах - явное восхищение подвигом. И неважно, что он совершенно определенно тычет пальцем в один из стульев, стоящих у колонны, подпирающей потолок, и утверждает, что разведчик сидел на том, а товарищ чуть левее, у стены (как он разобрался в темноте зала, да еще находясь у себя дома?).

Сейчас кинотеатр восстановлен, модернизирован, другие стены и другая меблировка, но в нем продолжает незримо присутствовать Михайло.

Проходят новые четверть часа в мелькании городских предместий. Мы делаем круг и останавливаемся возле другого приземистого здания с дворовыми пристройками (здесь издавалась фашистская газета «Иль-Пикколо»), тоже взорванного Михайло.

- Узнаете? - спрашивает Мария.

Нет, хотя теоретически мы здесь бывали часто. Оно и понятно, что нет, - дерзким налетом прежняя типография была разрушена до основания.

- Однако здесь и теперь типография, - говорит Петич по-русски и извлекает из портфеля свежую газету. «Иль-Пикколо» вынесено в ее заголовок, она издается и сегодня.

- Газету субсидируют неофашисты, - говорит Петич, - а их первый противник - газета, которую редактирую я.

Петич учился в Москве и по возвращении на родину начал редактировать газету триестинеких коммунистов, пользующуюся горячей любовью рабочих города.

Перелистав номер «Иль-Пикколо», я возвращаю его Петичу, - динамит вдребезги разнес типографию, но, очевидно, динамита было все-таки недостаточно.

Еще один крюк, скрипят покрышки на резких поворотах- сидящий за рулем Серджо Перрини, партийный боевик с мощными бицепсами, помощник Куффаро, тоже презирает медленную езду, - и мы возле собора Сан-Джусто.

Просто чудо, что нас никто еще пока не остановил, хотя какие чудеса в наш электронно-кибернетический век: вон наш ангел-хранитель в форме карабинера, в малолитражке, прикатившей сюда раньше нас.

Пристально вглядываюсь в контуры собора, расположенного на горе, господствующей над городом, - к нему часто приходил наш герой, любовался его линиями и росписями, встречался со связными, получал нужные сведения из городского подполья.

Бесчисленное множество церквей в католической Италии, но с этой я встречаюсь, ничего не спрашивая у спутников: высокие своды, росписи на стенах, изображение богоматери, алтарь - все знакомо до деталей - до опоясывающей собор каменной лестницы, до такого же парапета на склоне горы, откуда открывается широкая панорама расплескавшегося на морском берегу Триеста.

«Талант зреет в тишине, характер закаляется в бурях жизни» - Михайло проверил правильность определения Гёте на себе: здесь, наверху, была тишина, заставлявшая его часами сидеть на камне с альбомом и карандашом, внизу - тот бурный водоворот, что формировал его душевную структуру: волю, отвагу, способность не дрогнуть перед самым страшным испытанием.

Без претензий на неоспоримость мы писали, что, глядя на Триест, Михайло искал аналогии с родным Баку. Не мог не искать не только по внутреннему своему состоянию, но и по выразительным приметам, гораздо более близким, чем даже Неаполь: облик Триеста деловитее и суровее, но тоже будто писан не акварелью, а скорее в манере гризайль.

Отсюда, от подножия собора, отлично просматривается порт, одна из крупнейших перевалочных баз Средиземноморья. Сейчас здесь мало кораблей и опустели пирсы, капиталистическим концернам выгоднее расширять другой порт - Геную, они его и развивают; в Триесте же портовики ходят в безработных.

Вообще в Триесте явственны следы запустения, блеклости, унылого провинциализма. Как известно, Триест долго после войны был «открытым» городом, затем отошел к Италии, демаркационная линия полукружьем прошла в нескольких десятках километров.

И за ней, уже в Югославии, осталось село Чеповани, а в этом селе - могила Михайло.

- Мы сможем проехать к могиле? - было первым моим вопросом к товарищам, встретившим нас на вокзале.

- Вне всякого сомнения, - ответили они мне. - Получим разрешение, поедем вместе.

Пока же хватит злоупотреблять любезностью представителя власти в малолитражке. Пора отбыть в «пункт назначения», Монфальконе.

В Монфальконе, в полусонном курортном городке, в гостинице «У Карлины», несмотря на лето, горит жаркий огонь в ресторанном камине - на вертеле жарится мясо

по-флорентийски, на пробу оказавшееся с небольшой разницей замечательным шашлыком по-карски.

За обедом те люди, что были для нас приветливыми незнакомцами, обретают плоть и кровь: красивый молодой человек Антонио Куффаро, инженер по профессии, оставил высокооплачиваемую должность в индустрии и полностью перешел на партийную работу. У него четыре дочки («все абсолютные красавицы, грозящие затмить признанную красоту жены»); о своей трудной дороге, изобилующей тюрьмами и гонениями, о своей семье - жене и детях - рассказывает учтивый спокойный Калабриа.

- А у меня никого, - говорит Мария. - Пятьдесят лет борьбы. И больше - ничего.

Это не фраза, рассчитанная на эффект: Мария включилась в рабочее движение юной девушкой, стала членом Итальянской коммунистической партии и ради торжества идеалов своей партии готова была на все: на ссылки, голод, холод, на трудную долю стачечника и еще более трудную - солдата с винтовкой за плечами. Сейчас силы не те, сбивается ритм сердца и холодеют ноги, но Мария обеими руками намертво держит древко выбранного ею славного знамени.

- Отдохнем полчасика наверху, потом пойдем в один дом, в нем живет удивительный человек, - с таинственным видом говорит она. - К Сассо, - добавляет она, помолчав.

...«Сассо» означает «камень». Это кличка Марио Фантини, одной из самых колоритнейших фигур, встреченных мною за эту поездку. Могучего телосложения, с начинающей седеть бородой, с лукаво смеющимися глазами, Фантини приветствует нас в кухне своего дома, стоящего как раз напротив отделения АНПИ в Монфольконе, где он теперь председатель.

Собственно, это не громкие приветствия, а беспорядочный взрыв петард:

- Советские гости с моим комиссаром, а командир - в стороне?!

- Молчи, командир, теперь ты действуешь без комиссара.

- Как без комиссара? - возмущается Сассо. - При мне теперь всегда комиссар.

Нынешний «комиссар» - его полная и высокая жена - варит листья салата у плиты. В кухне взрывается новая петарда.

- Ждем, ждем, а они ездят где-то целый день, - кричит жена Сассо.

Все происходит одновременно: нас усаживают за стол, на мои колени взбирается внук («ухо у него болит, не в настроении»), на стол ставят вино («что-нибудь покрепче»?), из соседней комнаты стремительно выходит светловолосая дочка («мама, вчера еще была девчонкой, а сейчас мама, да еще соломенная вдова»), мне показывают кофейник особой конструкции с отвинчивающимся корпусом («изготовлен в мастерской Фантини»).

Пытаясь не утонуть в этом водопаде слов, начинаю перелистывать книгу о Сопротивлении: в нескольких местах фотографии Фантини - бородатого Сассо, в кожаной куртке и с пистолетом за поясом, окруженного партизанами.

Штаб соединения, которым командовал Сассо, преимущественно дислоцировался в Юлийских Альпах и отсюда руководил боевыми операциями вплоть до Венеции: внезапными рейдами во вражеские тылы, боями с гитлеровскими воинскими подразделениями и отрядами жандармерии.

Сассо был смел, азартен, изворотлив, он выбивал вражескую нечисть из самых, казалось бы, неприступных гнезд, его обожали сопротивленцы, но кое-кому он определенно не нравился: после победы его посадили за решетку, предъявив нелепое обвинение и требуя судебной расправы над ним. Международный трибунал оправдал его.

- Вытащил за бороду, - смеется Сассо.

Доля его жены тоже не ограничивалась варкой салатных листьев у плиты.

- Единственные места, где мне доводилось отдыхать, - тюрьмы, - тоже смеется она.

С удивительной легкостью говорят о бедах сильные люди. Увлеченный ими, я не слышу звонка у двери. Входит расстроенная Кудрявцева, ездившая за разрешением в Югославию.

- Нам не дают разрешения перейти границу, - говорит она...

В одно мгновение кухня, стол, огонь в очаге уходят куда-то далеко, на задний, почти невидимый план: неполадки с визами преследуют нас в эту поездку так же, как гололедица в прошлом году во Франции.

Чтобы пересечь линию границы, надо запросить Рим, тот запросит Белград, получит там добро, и, пока пришлют обоюдное разрешение сюда, уйдет дней семь-во-семь.

- А у нас через семь дней вообще истекает срок виз, - говорит Кудрявцева.

Это катастрофа: преодолеть всю дистанцию и на последнем повороте сверзиться в кювет. Если мы не выберемся в Чеповани, пакет с бакинской землей прожжет мой чемодан.

- Может быть, позвоним послу? - вслух размышляю я.

- Обязательно, - говорит Кудрявцева. - И самые энергичные меры потребуют как раз таки неделю, по истечении которой нам надлежит пересечь итало-швейцарскую границу, а не итало-югославскую.

Она вынимает из сумки паспорта, чтобы вернуть мой, и при этом невзначай достает свою записную книжку.

- Хотела показать им это указание Пайетты, - раскрывает она страницу, на которой его рукой написано: «Подателям оказать всяческую помощь», - но воздержалась, оно адресовано не квестуре.

- Оно адресовано нам, - вдруг говорит Сассо, подходит к телефону, бросает несколько фраз в трубку, и через несколько минут в окно видно, что у дома остановилась машина.

Вошедший, респектабельный мужчина, церемонно целует руки женщинам и протягивает визитную карточку, из которой явствует, что он - Пиккарди.

Сассо просит дать ему наши паспорта, опять произносит имя Пайетты, и Пиккарди, так же церемонно раскланявшись, захлопывает за собой дверь.

- Куда он поехал? - спрашиваю я.

- Скоро вернется, - усмехается Сассо. - А пока вы мои пленники.

Мы самым добросовестным образом используем свое «пленение»: пробуем вино, беседуем, смотрим телевизор.

За окном сгущается ночь. Проходит еще немного времени. Во мгле мелькают лучи фар, урчит мотор, входит Пиккарди и широким, эффектным жестом кладет перед нами наши паспорта.

- Вас приглашает на тридцать шесть часов быть его личными гостями начальник управы в Горициии, - говорит он. - В паспорте проставлены соответствующие штемпеля обеих сторон.

Оказывается, к поездке по личному приглашению, но не более чем на тридцать шесть часов, препятствий нет, а…

- А приглашает вас югославский компаньеро, бывший партизан моего соединения, - говорит Сассо.

- Там Пиккарди был.

- Ага... Съездил в Югославию и привез приглашение, - вместо Сассо невозмутимо говорит Пиккарди. Вот она, та солидарность, неистребимые корни которой уходят в вечно живую почву сражений за свободу и достоинство человека, - проходят годы, пролегают новые границы, но на зов брата по оружию всегда найдется отклик в сердце другого брата.

У Фантини и Марии будто зажигается внутри свет, когда речь заходит об их боевом прошлом.

А Милка Петелич, партизанская связная? Ведь она, вначале сухая, настороженная, преобразилась до неузнаваемости, стоило ей урлышать имена Михайло и Ивана.

Мы въехали во дворик ее дома на следующий день, она садилась за вечернюю еду с братом и матерью. Какая тут еда! Она вскочила, засуетилась, на ее бледных щеках появился румянец: здесь друзья хранили оружие, наверху, в мансарде, спали, в этом дворике сидели на скамейке.

Она увлекла нас на улицу, еще дальше, к подступающей к селу роще: отсюда они шли, прижимались к стене на перекрестке, осторожно изучая сельскую улочку и

удостоверяясь, открыта ли створка окна - условный сигнал, что все в порядке.

Она наглядно воссоздавала перед нами сцены, играя нескольких персонажей сразу: «Я стою в углу двора, я говорю - что же вы опоздали, Михайло идет со мной, садится, - дай воды, мама Пепка, так называли мою мать; Михайло снимает сапог с ноги...»

Она не рассказывает, а показывает: якобы подает воду вместо матери, сбрасывает туфлю с ноги, берет Марию под руку, будто это Михайло, а она сама - Иван.

Отсюда они ушли на знаменитую операцию по уничтожению «зольдатенхайма», в этой кухне переоделись, отправились взрывать мост в Монфольконе, в углу чердака сложили одежду, а после помогли жителям окрестных сел бежать из тодтовских лагерей.

- Веселым, озорным был Михайло, - говорит она. - Спали они наверху с Иваном, вдруг слышим взрыв. Неужели взрывчатка, что они принесли в сумке? Кидаюсь наверх, они лежат, хохочут. Это Михайло вывинтил ножку кровати, чтобы с грохотом провалился матрац под Иваном. Того угнетала неудача...

Неудача?

- Они гонялись за Кетнером, озверелым немецким комендантом, пробрались в его дом, заложили адскую машину с часовым механизмом под кровать. Механизм должен был сработать в 12.30 ночи. Кетнер лег, а в 12 встал и ушел проверять посты.

Она показывает инсценировку все новых эпизодов, становясь на наших глазах все юнее и оживленнее.

Милка не вышла замуж, и вообще у нее не сложилась жизнь после войны: ветхий домишко, огород, заботы о брате-инвалиде и старухе матери.

Может быть, острота воспоминаний - ее спасительный якорь?

А Катря? К Славе Чебурец, в антифашистском Сопротивлении гораздо более известной как «Катря», судьба была милостивее: семья, хорошие дети, любящий муж, добродушный, немногословный моряк Милан. Смогли дать образование сыну - он теперь видный биолог, преподает, женился, отделился. На месте старого жилья в Опичине Катря и Милан собственными руками выстроили удобный, даже комфортабельный особняк. Когда мы вошли в садик с зеленым газоном и яркими цветами, Милан находился в подвале, что-то там еще красил или перекрашивал.

Цветы, книги, дом, удобства, внуки - самое время быть здесь, но Катря целиком там, в горах, навсегда опаливших ее огнем.

- Когда поедете к Михайло? Милку видели? Лазар был проводником у сопротивленцев, лежит сейчас в больнице, с сердцем плохо. Как Иван живет? - прямо с крыльца открывает она пулеметную очередь.

И, пригласив в столовую, не дает нам опомниться.

- Они были в Банне, в лагере военнопленных, и я первая установила с ними связь, - говорит она так, будто это было не четверть века, а час назад. - Мы встречались часто, очень часто. Я пробиралась в партизанский штаб, они пробирались сюда. Как-то схватили меня. Офицер, попади он в ад, заставил раздеться донага, но секрет был у меня спрятан не в одежде, а в голове. Катря хохочет и тут же снова становится серьезной.

- А как горевал Иван, когда схватили Михайло! Его посадили в Сежане, еще не догадываясь, кто им попался.

Иван строил план за планом его освобождения, через сторожа проник в тюрьму, но Михайло перевели в Кабеглаву. Оттуда пришла весточка - доставьте в камеру итальянский берет и пистолет. Нашли, кое-как доставили, но в камере лежал связанный надзиратель - Михай побежал. Кружился по селам, заметал следы, затем пришел к Милке.

А Эмиль Легиша? Он вошел в летний ресторанчик «Алла Конкилья» у морской протоки, усеянной лодками добытчиков мидии, подошел, к нам и... зарыдал.

Он был подпоручиком в южном приморском отряде и снабжал Михайло и его ребят пропусками и удостоверениями.

- Однажды брачное свидетельство выдал, - утирая воспаленные глаза, попробовал он наконец улыбнуться.

Михайло часто получал у него взрывчатку для очередных диверсий.

Что это все-таки? Всесильная власть романтического подвига или возвращение к собственной, навсегда ушедшей юности?

Волнение, скажем, триестинского врача Лауры Вайс, находившейся среди встречавших нас в холле гостиницы, когда мы только приехали, объясняется просто - огромной, владеющей всем ее существом благодарностью. Ее отца, видного профессора естествознания, весной 1944 года угоняли в Германию в большой группе местных стариков-евреев. Эшелон стоял в Набрижине, и перед самым его отходом, на путях, верхом на коне, появился немецкий офицер. Он без всяких объяснений с охранниками высокомерно приказал старикам выйти из теплушек, построил их и, лихо козырнув, вывел со станции, а там отпустил на все четыре стороны.

Одновременно была взорвана немецкая столовая в Набрижине, а офицер бесследно исчез.

- Отец спасся, а спас его Михайло, - шепотом закончила Вайс, и в подтексте этого шепота бесчисленное число раз произносилось «спасибо, спасибо, спасибо».

Это благодарность, ну а другие?

Мы ушли от Сассо, и в номере, ворочаясь в постели, я думал о том, что эти чувства у Сассо и Милки, Катри и Марии объясняются чем-то гораздо большим. В антифашистском Сопротивлении раскрылись их возможности: способность противопоставить добро злу, познать любовь и познать ненависть, радость удивления друг другом и презрение к философии, что просуществовать бесцельно - это тоже цель.

...Наутро «У Карлины» - несколько автомашин.

- Аванти, - говорит Мария.

Цугом выезжаем на шоссе, на другое, на третье - уже пограничное. Въезжаем в Горицию, посреди которой, как у нас в Астаре, проходит граница, только не по реке, а по площади: на площади - арка, пограничные итальянские посты, подъехав, предъявляешь в окно документы, следуешь к другой арке - к постам югославским.

С противным замиранием сердца протягиваю паспорт, - вдруг что-то не так, не пустят, но штемпеля горицийского начальника действуют безотказно: еще несколько минут - и мы будем в Югославии.

На той стороне нас поджидает уйма народу - югославские партизаны, приехавшие из ближних городов и сел.

Снова крепкие объятия, поцелуи, рукопожатия, снова бурное течение незнакомой для меня речи, из которой выплывают знакомые островки: Мария... Сассо... советска... Чеповани... Михайло... Мехти...

Из Гориции шоссе тянется вдоль серебряно-зеленоватой реки Димаво, потом отрывается от нее, проходит по ущелью, резко берет вверх.

Справа виднеется высокая гора, на ее вершине монастырь Святогора - из долины, пересекая склоны, к монастырю тянется электрическая канатная дорога. Нынешние монахи не отказываются от комфорта.

Суровее становятся леса вокруг, в них и в селах, раскинутых в долинах и предгорьях, размещались партизанские соединения. Здесь шли упорные, жестокие схватки, завершившиеся боями за освобождение Триеста от гитлеровцев, длившимися с 29 апреля по 1 мая 1945 года. Однако это произошло уже без Михайло, он лежал в земле, в Чеповани.

- Много курите, - обернувшись, говорит Мария.

Я выкурил с утра полпачки, внушая себе, что табак способен уменьшить волнение. Но спутникам моим тоже плохо удается казаться спокойными.

Еще один поворот - и дорога выходит прямо на Чеповани.

Несколько десятков сельских домиков по склонам гор, густо поросших смешанным лесом, сады и огороды, деревенская гостиница. И церквушка, возле которой раскинулось аккуратное, любовно ухоженное кладбище.

У церкви стоят люди, поджидающие нас.

Тишина, хлопают дверцы машин, умолкает шум моторов. И снова невообразимая, звенящая тишина - расположение ли гор, разреженность ли воздуха, но акустика изумительная: каждый звук полон такой гулкой емкости, что невольно вздрагиваешь.

От стоящих у церкви отделяется плотный, лысоватый человек, приглашающий нас войти на кладбище.

- Идите, - тихо произносит за моей спиной Кудрявцева.

Я извлекаю из портфеля целлофановый пакет, прижимаю его к себе, медленно делаю несколько шагов.

Мы идем по земляной дорожке среди могил, сворачиваем направо.

И вот она, могила Михайло, - конусообразный черный обелиск, устремившийся вверх из тяжелой белой плиты, окаймленной каменным бордюром.

На обелиске выведено: «Герой СССР Гусейнзаде Мехти Ганифа оглы (Михайло)».

Он не один в этой могиле: с ним лежат боевые соратники - итальянцы, словены, француз, венгр, словак - всего одиннадцать человек.

Признаюсь, не очень по-мужски я вел себя перед могилой: старался держаться, но услышал сзади сдавленный стон Милки, плач другой женщины, заметил, как закусила край платка Кудрявцева и наполнились глаза стоящих вокруг старых и молодых мужчин.

Как в тумане, открываю пакет, черпаю горстями, рассыпаю землю, проделавшую путь в шесть тысяч километров, чтобы смешаться с той, что приняла в свои объятия героя.

Мне дают совок, и, шагнув к плите, я беру землю с могилы, насыпаю в пакет. Собравшиеся вокруг нагибаются, сыплют в пакет по щепотке. Я закрываю его.

- Михайло лежал отдельно, - показав в сторону, на большой пустой прямоугольник, заросший травой, говорит лысоватый человек, встретивший нас у церкви. - Потом мы решили переложить его к друзьям, пусть продолжается их братство. Когда партизаны хоронили Михайло, похитив его тело из оврага, куда его сбросили фашисты, у Витовле, они торопились: вокруг шел бой. Партизаны положили в широкогорлую бутылку его документы, но толком не успели ее закупорить, а здесь подземные воды - вода проникла в бутылку и превратила бумагу в мутное месиво. Гроб не истлел, и мы переложили Михайло сюда, положив поверх остальных.

Мы неподвижно и долго стоим перед обелиском - ни речей, ни музыки, все та же звенящая тишина.

- Пройдемте сюда, - снова говорит лысоватый, увлекая нас в сельскую управу.

Здесь, в управе, хранится чугунная доска, которая была установлена на месте первого погребения Михайло, с датой его рождения и смерти, экземпляр газеты «Правда» с Указом о присвоении ему звания Героя Советского Союза и редакционной статьей о его выдающемся подвижничестве вдали от родных берегов.

В узеньком зальце, на первом этаже гостиницы, бывшие партизаны устроили поминки по Михайло: немного вина, деревенская ветчина, домашняя колбаса, сыр.

Разговор идет на нескольких языках сразу: словенском, итальянском, сербском, французском, русском, - но все о нем, не о мертвом, погребенном под черным обелиском, а о живом, улыбчивом, озорном, бесстрашном парне, пронесшем факел сквозь мглу.

Бранко Степанчич - его за столом называют по-боевому «Славенко», - еще в Горици успевший тепло рассказать и о Михайло, и о его товарищах, с которыми он общался, говорит:

- Все меня спрашивают, каким был Михайло? Сверхчеловеком? Нет, нет, трижды нет. Обыкновенным.

Храбрым и честным. Пустить под откос вражеский эшелон, можно бы после этого и похвалиться, а он негромко, по-мастеровому: аммонала столько-то, шнур достался короткий, проползли до насыпи, двух дослал в дозор. Получалось, что был только труд. И даже не сверхтяжелый, а самый простой.

Это очень меткая характеристика. Михайло был тружеником всем своим существом, и самое захватывающе-героическое представало перед ним рабочей гранью.

Сказанное Славенко относится не только к военно-разведывательному искусству Михайло, оно характерно для всех истинных мастеров: перед приездом сюда я слушал прилетавшего в Баку космонавта Шаталова - он тоже говорил то о рычагах космического корабля, то об автоматике при стыковке; был я у великолепного художника Сарьяна, и, когда ему принес свое полотно начинающий живописец, он молча взял палитру: «Вот сюда пятно, а сюда - мазок, а?» - и полотно вдруг стало искусством с большой буквы; центрфорвард Алекпер Мамедов рассказывает о четырех феноменальных голах, забитых им в матче московских динамовцев с итальянцами в Милане, примерно так: «Обошел защитника, другой подстраховывает, я на него не пошел, сместился влево, послал мяч в ворота».

Допоздна продолжаются поминки по Михайло, обыкновенному мирному советскому парню, сумевшему подняться к высотам дерзновенного военного подвига, вечно живому не только в глазах его поминающих: могила Михайло расположена на горной высоте и видна очень далеко.

В сгущающихся сумерках мы выходим из гостиницы - прислонившись к стволу раскидистого дерева, стоит Сассо, с ним Мария, Милка и Пиккарди.

Они явно довольны, что им удалось сдержать слово и привезти нас сюда.

Что касается меня, то я пребываю в состоянии эйфории, и это состояние довольно продолжительно, - не помню, как мы ехали обратно, пока снова не очутились «У Карлины» в Монфольконе, выполнив обязательство по визам с опережением на несколько часов.

-... Вы осуществили задумку, - говорит Кудрявцева на следующее утро, спустившись в кафе к завтраку.- Теперь извольте ездить со мной, как я с вами, пока мне не удастся выполнить мои издательские и переводческие задания.

Я готов ехать с ней куда угодно, она вновь показала в этой поездке образец подлинного товарищества.

Впрочем, у нас есть немало совместных общественных поручений в Италии, затем в Швейцарии, а пока остаются дела и здесь.

Мы вновь посещаем Катрю, едем к Альбину Шкерку, затем, несмотря на накаленную предвыборную обстановку, несколько часов кряду беседуем с Куффара в помещении триестинской парторганизации - он поддерживает идею побратимства Баку с его городом.

Провожая нас до крыльца, он окликает проходящего мимо худого человека, опирающегося на палку.

- Капитан Карлос, - говорит он.

Итак, мы наконец встретились с Видали, с удалым богатырем из истории первых схваток с фашизмом в Испании. Не на Адриатике, а на эстакаде Нефтяных Камней в Каспийском море в сумасшедшие штормы ноября 1958 года он возник передо мной впервые: Роман Кармен заполнял вакуум вынужденного безделья воспоминаниями о Мадриде и Гвадалахаре и рассказывал о такой безудержной отваге коммуниста капитана Карлоса, что его документальные новеллы казались волшебными сказками.

- Нравится мне Кармен, - говорит Видали. - Нравится неистовостью и непоказной храбростью. Передавайте ему привет.

Я обещаю это исполнить и добавляю, что ему, Видали, просил передать привет Леви и что он недавно послал портрет, написанный Сикейросом. И попадаю пальцем в небо.

- Вы тоже? - гневно кричит Видали. - Сто человек в течение года кормят меня обещаниями мифического портрета. Сикейрос его еще и не написал.

Мне остается поклясться, что Леви не посвящал нас в подробности.

- Но я разыграю тезку остроумнее, - грозится Видали, размахивая палкой.

Он наконец опускает ее, о чем-то размышляет, потом тихо спрашивает:

- Были на могиле Михайло?

- Вчера.

Видали снова о чем-то думает.

- А в Ронки были?

Мы проезжали через Ронки, откуда д'Аннунцио в 1919 году начал первую репетицию похода чернорубашечников на Рим.

- Верьте, та дорога зарастет бурьяном, а дорогу в Чеповани внуки и правнуки обсадят цветами.

Вряд ли я более выпукло сформулировал бы собственное убеждение и, вместо того чтобы что-то сказать, порывисто обнимаю Видали.

В этот момент я не мог предположить, что спустя полгода включу радио и услышу, что подлый неофашистский ублюдок подкрался к Видали сзади и тяжелым ударом кастета раскроил ему голову.

Воровской удар сзади - это типично для новоявленного нацистского молодчика. Встать лицом к лицу с капитаном Карлосом - даже старым и больным - он бы не посмел.

И в том-то опасность, что эта нечисть сзади подбирается к сегодняшней Италии, полной других тревог и забот.

Кстати, неисчислимые трудности, встречаемые Михайло и его товарищами, усугублялись тоже опасностью получить нож в спину.

Школьный учитель Михайло, ныне известный наш композитор Сеид Рустамов как-то говорил, что обостренное чувство на такой удар у Михайло, тогда звавшегося Мехти, было развито с детства - при мальчишеских потасовках в школьном дворе он старался встать спиной к стене.

- Прогрессивной Италии очень нужно обезопасить спину, будет намного легче, - говорит Куффаро, приглашая нас ехать.

Нам устраивают прощальный обед в загородном ресторанчике, а вечером - мы снова пленники Сассо.

Это незабываемый вечер в той же кухне-гостиной, задушевный и теплый, а под конец трогательный.

Мария торжественно вручает Кудрявцевой и мне памятные сувениры.

Протягивая мне два пакетика, она говорит:

- От коммунистов-сопротивленцев. Чтобы слушать мир и писать.

Раскрывать пакетики здесь же неудобно, благодарю, кладу их в карман.

Наше прощание, начатое за обедом, продолженное у Сассо, заканчивается в полночь в кафе «У Карлины».

Утром Серджо усаживает нас в поезд, уходящий из Монфальконе в Венецию.

...На перроне венецианского вокзала стоит очаровательная юная пара: он - в узких бледно-желтых брюках и она - тростиночка - тоже в брюках, с сумкой через плечо. Обоим вместе от силы тридцать семь - тридцать восемь.

Нежно обнявшись, они движутся вдоль вагонов, и тут выясняется, что они ищут нас: у них поручение АНПИ быть нашими гидами, а для начала они готовы помочь добраться до гостиницы.

Она рядом, это - отель «Принц», но в Венеции нет сухопутного транспорта, и мы идем с чемоданами пешком, пробиваясь сквозь человеческую лавину, запрудившую узенькую улочку вдоль канала.

Еще дома, а потом здесь я спрашивал у товарищей Михайло - бывал ли он в Венеции?

Одни отвечали - да, другие - нет, но даже и без малейшей определенности я не могу уйти от «второго измерения», сопровождающего меня сейчас повсюду: был или не был, но человек, способный часами изучать апсиду в соборе Сан Джусто, рискуя быть вздернутым на сук, или заполнявший этюдами альбом буквально под свист пуль, не мог не стремиться попасть в находящийся рядом величественный храм искусства, каким была и есть Венеция. Мы выбираемся к Гран-каналу, с проплывающими по нему черными гондолами и обгоняющими их мощными моторными лодками, и, находясь все в том же измерении, я выдвигаю первое предположение, что Михайло мог получить задание диверсионного характера сюда, в итало-фашистский тыл, и тогда это явилось бы самым трагичным из его рейдов - сердце художника облилось бы кровью, если, уничтожая врага, пришлось бы раздробить хоть одну колонну этих изумительных

творений, раскиданных на множестве островков, соединенных пульсирующими жилками такого же множества каналов.

Второе предположение - задание не было диверсионным, надлежало что-то выяснить или передать, но и тогда, наверное, оно показалось бы трудным, полным непреодолимого желания забыть обо всем и отдаться восторженному созерцанию этих художественных сокровищ - от Дворца дожей и Сан Марко вон до того шедевра: палаццо в мавританском стиле, со ступенями главного входа, спускающимися в воду канала.

Эти шедевры не оглушают, не ошеломляют, они нежно очаровывают своими пропорциями и ритмами. Этим колдовством венецианцы владели в совершенстве, и время перед ним - бессильно.

Резким диссонансом вторгаются в эту красоту туристские орды, оснащенные фотоаппаратами, кинокамерами, биноклями и привносящие в нее невообразимую суету, - в узкий канал вплывает огромный пассажирский теплоход, набережные усеяны киосками с сувенирами и мелкой галантереей, перед музеями такая давка, что и не протиснешься.

Не случайно на одной из редчайших базилик появилась дощечка: «Кто верит - помолится, кто не верит - промолчит, дурак - сделает надпись». (Говорят, что дощечка действует - надписей на стенах стало меньше).

Индустрия туризма работает в Венеции на полную мощность - традиционный интерес к этому городу не ослабевает на самых далеких меридианах и широтах.

Мы останавливаемся перед «Гарри» - маленьким кафе, ставшим большим благодаря перу Хемингуэя, и, обойдя его, снова останавливаемся: ноги кариатид, поддерживающих балкон двухэтажного особняка, по колено ушли в воду.

Это - зримо, а вот незримо: чудо Венеция - целиком - сантиметр за сантиметром опускается в воду. Город медленно движется к смерти.

Ему делают кое-какие инъекции - неподалеку здание в ремонтных лесах, вон другое, свежепокрашенное, но меры эти не радикальны, ими смерть не приостановишь.

Уже не первый год бьет в набат общественность, заседают общества и комитеты, - все малоэффективно и слабосильно: тем, кто мог бы вложить в борьбу за спасение города крупные средства, это невыгодно, вложения требуют гораздо большей прибыли.

Художественные сокровища Венеции - общечеловеческие ценности, но там, где властвует капитал, солидарность перед бедой проявляется своеобразно: вон на другой стороне канала просматривается обветшалое палаццо, с окнами, забитыми досками, вокруг которого лежат свезенные сюда мешки с цементом и груды камня, - американский финансовый воротила купил его за бесценок, отремонтирует на свой лад и будет летать сюда на уикэнд, иметь владение в Венеции - это отличная реклама, а реклама, как известно, дополнительная прибыль.

Нет, в самом голубом сне не может мечтать этот мир о той общности усилий, что стала нормой нашего бытия, той, когда для машиностроителя в Москве, бакинского нефтяника и оленевода тундры становится кровным делом немедленное восстановление разрушенного ужасным землетрясением Ташкента.

Недаром литература, создаваемая сегодня за пределами лагеря социализма, - это в фундаменте своем литература человеческого одиночества: протестуя или воспевая, она остается зеркалом, отражающим это бедствие - более страшное, чем внезапный удар цунами или последовательное оседание в воду уникального города.

Мы идем по мосту через канал: у причалов гондольеры зазывают пассажиров, под разноцветными тентами и зонтами сидят за столиками туристы, мимо нас дефилирует лохматая, немытая стайка хиппи, а железный мост памяти выводит меня в другую Венецию, северную, в Ленинград.

В Ленинграде до войны учился Михайло. У его сестер сохранились первые письма оттуда, полные юношеской восторженности перед открывшейся ему красотой.

Будь он в Венеции, я уверен, что он бы нашел чарующим и этот венецианский пейзаж в погожий летний день, но наверняка без каких-либо сомнений утверждал бы, что

Ленинград величавее, строже, гармоничнее: тоже «островной», он воздвигался в иных масштабах, пронизанный титаническим духом России, в осмыслении всего предыдущего опыта мирового зодчества - Кваренги и Растрелли творили на невских берегах со зрелостью, какой они до этого в Италии не достигали.

Однако вернемся обратно, в «Принц» у вокзала, отдохнуть, собраться - завтра с этого вокзала поезд увезет нас в Милан.

И уже вечером в номер врываются звуки моей родины - где-то поют «Джуджалярим». Транзистор за соседней стеной? Подхожу к окну, по каналу плывет гондола, нежно-озорную песенку поет гондольер - «Цыплята, цыплята», они все еще продолжают шествие по миру.

...Воскресный день в Милане необычен. Традиционно закрыты магазины, конторы, учреждения, но улицы полны людей: предвыборная кампания достигла своего апогея.

На площади перед кружевом из камня, Миланским собором, - митинг, на экранах телевизоров развернуты ожесточенные дискуссионные бои, мимо театра Ла Скала движется демонстрация молодежи, большинство юношей и девушек предусмотрительно надели цветные шлемы мотоциклистов - есть надежда избежать травм, если карабинер обрушит резиновую дубинку на голову.

В отличие от аграрного Юга, итальянский Север - это средоточие индустрии, а Милан - ее центр, этакий европейский Чикаго, огромный, нахмуренный, неулыбчивый город.

В Милане у меня нет никаких дел, зато они есть у Кудрявцевой - здесь находятся почти все наиболее значительные книгоиздательства, и ей предстоит решить вопросы, связанные с публикациями переводов в ее журнале.

Мы останавливаемся перед стеклянными сводами пассажа, у витрин издательства «Риццоли», читаем заголовки выставленных новинок, и вдруг внимание наше привлекает афиша, возвещающая, что в салоне издательства экспонируется выставка советских художников-абстракционистов Гарчун, Жадковой, Розановой - ни одно имя нам ничего не говорит, да и вряд ли кто у нас о них слышал.

Несмотря на грошовую стоимость билетов, в салоне ни единой души, на стенах - бредовая мазня с громкими названиями. Совершенно очевидно, что в поисках непризнанных гениев за этой мазней охотились западные коммивояжеры и, обнаружив ее в московских и ленинградских закоулках, попробовали справить авторам именины...

Вместо имени получилась панихида: совершенно пустой салон - тому свидетельство неопровержимое.

В общем-то таков удел любой мути, оказавшейся чужой в родных стенах, - не очень-то пристойное хвастовство - «дома, мол, не признали, зато выставляюсь в Милане» или «наши отвергли, а солиднейшее лондонское издательство напечатало с превеликим удовольствием» - пустой звук, рассчитанный на дремучую обывательскую глухомань.

Эта глухомань, в 20-х годах ограниченная занавесками на окошке, сытым котом и геранью, ныне переменила облик - она коллекционирует книги Кафки и Джойса, ездит в круизы вокруг Европы, добивается ученых званий и степеней, но и в эти ультрасовременные одежды заключено дряблое тело все того же мещанина, заклейменного Горьким, ползучего приобретателя, к которому и обращены некоторые «сенсационные» литературные пируэты, совершаемые в непосредственной близости к мусорным ящикам.

В дни работы одного из прошлых пленумов Союза писателей, в вестибюле Центрального Дома литераторов, нашлась весьма неюная окололитературная дама с сигаретой в пожелтевших зубах и девичьей прической, закатывающая глаза: «Ах, это такая известность, вся Европа зачитывается» (это она про одного писателя, издавшего свою рукопись за рубежом).

Я дважды потом выезжал за рубеж и пробовал удостовериться, так ли это: в реакционной печати что-то о «знаменитости» встречали, кое-кто из писателей о нем слышал, но зачитываться? Позволивших себе такую роскошь мне встретить не довелось.

Что же касается фейерверка нездорового интереса, как правило, разжигаемого реакцией, то огонь его холоден, да и гаснет он быстро - предательство всюду вызывает

брезгливость, а Кориолан не встречал одобрения ни у одного честного человека.

Литературная арена даже на Западе не полицейский участок, на ней никто не удерживался, устраивая скандал. И может быть, не стоило бы на этом и останавливаться - ведь это даже не ложка дегтя, это - капля в море той новой, разноязычной, жизнеутверждающей литературы, что взяла на себя миссию глашатая высших человеческих идеалов.

Может быть, не стоило, но здесь, в пассаже, возле витрин издательства «Риццоли», мне бы хотелось встретить даму, закатывающую глаза: «...вся Европа зачитывается».

Кстати о чтении вообще: в очаге древней цивилизации, на родине позднего Ренессанса, в стране, получившей бурное развитие в новой истории, совершенно естественно обнаружить мощную полиграфию и множество издательств. В Италии, в частности в Милане, выпускается колоссальное количество книг, журналов, газет, но как ни парадоксально, массовым чтением страна не отличается.

Объяснения разные, но главное в том, что даже в этом индустриальном центре немало жителей, не умеющих ни читать, ни писать, а на Юге неграмотность порою носит повальный характер: в Неаполе к нам подходил пожилой крестьянин с протянутой запиской с нужным адресом - прочитать ее самостоятельно он не мог.

Вот почему, когда зимой в Баку приезжали итальянцы, они были изумлены фактом, что при населении в десять раз меньше два азербайджанских литературных ежемесячника - «Азербайджан» и «Улдуз» - имеют около 50 тысяч постоянных подписчиков каждый. Бурная их реакция была не просто данью вежливости, как мне тогда показалось.

На переговоры в издательствах уходит два дня, в промежутках между которыми мы осматриваем достопримечательности - от гробницы Карла до стадиона «Сен-Сиро» - и ранним утром покидаем Милан, держа путь в Швейцарию.

...На станции Домадоссола экспресс Милан - Женева стоит долго - это пограничный пункт.

Позади остались станции, туннели, озеро Комо, горы, впереди другие гряды Альп, другие станции, другие туннели, а с ними в вагоне - пограничники и таможенники, проверяющие документы.

После триестинских историй с визами я бледнею при всякого рода проверках, но эта проходит благополучно, экспресс плавно трогается с места; начинается Швейцария.

Дорога идет на подъем, ослепительно сверкает снег на вершинах, хотя у меня такое ощущение, что мы спускаемся в шахту: только нет знакомой штольни и лампочки над головой.

Правда, где-то впереди угадывается расплывчатый мутноватый лучик, - как я уже писал, Михайло бежал к гарибальдийцам из лагеря в Банэ. Однако этому побегу предшествовали еще два: первый - из Польши, где тяжело раненный под Сталинградом лейтенант Гусейнзаде мог избрать только одно направление - через линию фронта - к своим, в действующую армию или к партизанам Украины или Белоруссии.

Пойманный, он был заключен уже в лагерь поглубже и совершил второй побег, где-то в Чехословакии. Ни из документов, ни из опроса самых близких очевидцев так и не удалось определить, по каким дорогам совершалась его вторая одиссея. Известно только, что его поймали вторично.

Тем не менее Михайло логически мог прийти к решению - с меньшим риском податься через горные перевалы к французским макизарам или итальянским гарибальдийцам. В этом случае ему надлежало пересечь нейтральную швейцарскую территорию.

А территория эта проплывает за окном: сахарные головы вершин, леса, рощи, луга, городки, курорты.

Впрочем, и крупные города - Лозанна, Женева - напоминают курорты. Сливаясь с пригородами и другими городками, они образуют почти непрерывную цепь поселений со звучными названиями, тянущуюся вдоль всего берега Женевского озера.

После горячей, напряженной, динамичной Италии, с ее бурным противоречивым кипением, Швейцария с ее возделанным каждым квадратным метром земли кажется

чрезмерно аккуратной, медлительно-спокойной и, если уйти от первозданных природных красот, в целом скучноватой страной.

Из окна небольшого «Эксцельсиора» (по-моему, отели с этим названием есть чуть ли не во всех городах Старого Света) видна обычная женевская дневная улица - осторожно катят редкие автомобили, не торопясь идут прохожие, на перекрестке останавливается трамвай.

А напротив распахнуты окна пятиэтажного добротного жилого дома, поблескивает хрустальная люстра в глубине комнаты, на балконе читает газету старичок в шезлонге, ниже в белокафельной кухне хлопочет молодая женщина, еще ниже - на, малиновом ковре возле камина играют дети, совсем внизу, у подъезда, из гоночной машины юноша высаживает ладно скроенную девушку с теннисной ракеткой в руках.

Безмятежным, идиллически счастливым кажется этот незнакомый дом из противоположного окна. Чтобы знать, какие беспокойства у старичка на балконе, какие радости у хозяйки в кухне, какие надежды и разочарования у девушки с ракеткой, надо войти внутрь.

К сожалению, смотрю на Швейцарию из окна. О чем я могу написать хоть две строки?

О стодвенадцатиметровом фонтане (утверждают, самом высоком в мире), бьющем прямо из вод озера, или о просторном подземном гараже, строящемся под этими водами? О белом здании европейского представительства ООН или о владениях обосновавшегося здесь вождя мусульманской секты исмаиллитов?

Или о Чарли Чаплине - нам показали его дом, в нем гениальный изгнанник живет со своим многочисленным семейством. Но его-то самого не видели.

Видели прекрасного романиста, прославленного на всех континентах, яростного антифашиста Ремарка (ремарк - анаграмма его фамилии Крамер), но что напишешь, если видели мельком, перенесшего шесть инфарктов, полулежащего на веранде виллы в Монтрё в состоянии ишемии, в ожидании седьмого?

И все-таки между Лозанной и Женевой, в маленьком городке Эпаланже, состоялась встреча, умолчать о которой я не могу.

Мы приехали к Жоржу Сименону, он встретил нас в гостиной, был он именно таким, каким его не раз описывали, - подтянутым, оживленным, в излюбленной желтой рубашке с бантом, брови, образующие под острым углом скаты крыши, когда он смеется или удивляется.

Именно такой, каким не раз его описывали, дом Сименона - в виде буквы «П», на склоне холма, спускающегося к причалу на озере, со скульптурой Мегрэ у входа и русской березкой в углу газона.

Сименон показывает кабинет, где он пишет, и другой кабинет, где он работает с секретарями и корреспондентами, показывает свои бесчисленные трубки и книгохранилище - продолговатое помещение, сплошь уставленное стеллажами с невероятным количеством его книг, изданных по всему свету на десятках языков.

- Жаль, что советские читатели знают меня главным образом по книгам о Мегрэ, - говорит Сименон. - А ведь мне принадлежит такое же количество психологических романов.

Он рассказывает о недавнем случае: тяжело заболела жена, ее увезли в больницу, а писатель жесточайшей дисциплины («ложусь в половине десятого, встаю в шесть утра - час плаваю в бассейне, потом сажусь писать до вечера»), с неповторимой способностью писать роман за неделю («теперь больше, уходит десять - двенадцать дней»), был, быть может, впервые за долгие годы выбит из привычной колеи.

Приехал издатель, успевший разрекламировать очередной роман, но вместо новинки встретил подавленного, растерянного автора, который в доказательство своей полной неработоспособности протянул ему тетрадь («убедись, в каком ужасном состоянии я нахожусь, прочти, тут я описал это состояние»). Издатель читал всю ночь, а наутро восторженно заявил, что это - одно из самых лучших произведений Сименона, подлежащее немедленному опубликованию. Эту книгу он и дарит Кудрявцевой, а мне - с

теплой надписью в память о встрече в Эпаландже, с уверенностью вновь увидеться уже в Баку, - последнюю, замечательно изданную книгу о Мегрэ.

В кабинете, где он их надписывает, среди тщательно, с тонким вкусом подобранных картин, бросается в глаза модернистское полотно - получудовища-полулюди, с сардельками вместо ног и диким оскалом зубов, в окружении не то зверей, не то цветов.

- Чья? - задает загадку Сименон.

- Сальвадор Дали? - неуверенно бормочу я. Потом вспоминаю, что Сименон был в молодости частым посетителем парижской «Ротонды». - Ранний Шагал?

Сименон хохочет.

- Не вы первый предполагаете, что это Марк Шагал, - наконец говорит он. - А это работа одной шизофренички. Когда ей дают карандаши и краски, она тихо ведет себя в сумасшедшем доме.

Так, от обратного, Сименон демонстрирует свою верность реализму, заложенную в нем еще в детстве, в пансионате матери в Льеже, русскими студентами, познакомившими мальчика со своими классиками - Достоевский и Чехов поныне самые любимые писатели Сименона.

- Нельзя перестать учиться у них, - говорит он.

Сименон подчеркивает, что он всего лишь живет и работает здесь, что, кстати, делают и многие другие писатели, даже приняв швейцарское подданство, они по литературному подданству остаются иноземцами; французами, англичанами, немцами, испанцами.

В этом смысле Швейцария - постоялый двор не только для людей, но и для их денег: банки страны, избежавшей участия в двух последних войнах, предоставляют гарантийной прочности стальные сейфы капиталам богатых французов, итальянцев, немцев, греков.

Что же делать бедным представителям этих наций? Пожалуйста, им можно приехать на заработки, всю самую тяжелую, грязную, низкооплачиваемую работу за гроши выполняют иностранцы (в Лозанне мы видели на вокзале прибывших за несколько минут до нас молодых итальянцев, готовых от зари до зари прокладывать канализацию или таскать на спине мешки с цементом - лишь бы заплатили).

Мы идем в гостиную и переходим к той теме, которая была основной во всех наших встречах с писателями, к теме войны и мира.

Сименон был активным участником французского движения Сопротивления, не раз укрывал у себя английских парашютистов.

- Мои дети, кроме старшего, видели войну только в фильмах, - говорит он, раскуривая новую трубку. - Не хотят о ней и слышать, не могут представить, что такое может повториться. А чтобы не повторилось, нужно помнить.

Он спокойно пускает клубы пахучего дыма, а нам становится все яснее, что он живет не затворником в тихом городке, на берегу тихого озера - рука писателя на пульсе времени, он пристально вглядывается в ход событий, всем сердцем одобряя каждый шаг к разрядке отношений, сотрудничеству, к переговорам без оружия.

- Нет сомнения, что коллективные усилия по обеспечению европейской безопасности - важнейший из этих шагов, - говорит он.

Он открывает для нас бутылку превосходного анжуйского вина, а себе наливает чай - его он пьет от зари до зари, летом - холодным, зимой - горячим.

- Нужно большое мужество, чтобы, достигнув определенного возраста, суметь постепенно отказаться от радостей жизни, - улыбается он.

Несмотря на широкую улыбку, в его глазах под очками читается грусть - старость настойчиво стучится в его двери, хотя писатель пока гонит ее подальше. Не только подвижностью, спортивной элегантностью, но прежде всего непрерывностью той отдачи, что уже выразилась в сотнях написанных им книг.

И тут Сименон посвящает нас в особенность своего внутреннего художественного мышления - особенность более важную, чем его приверженность к трубкам.

Об этой особенности писалось мало или не писалось вовсе, и я был абсолютно убежден, что Сименон создает романы, отталкиваясь от прочитанного или услышанного

событийного факта; например, толчком к книгам о Мегрэ служит уголовная хроника.

Сименон ведет нас в коридор, соединяющий кабинет с библиотекой, весь уставленный длинными ларями.

- У меня нет времени возиться с черновиками, и этим занимаются секретари, - поясняет он, доставая из ларя несколько переплетенных рукописей. - Здесь собраны не только тексты романов, но и их предыстории.

Он раскрывает папку и вынимает из внутреннего карманчика на оборотной стороне обложки тщательно скрепленные листки из блокнота, бумажную салфетку, сплющенную папиросную коробку.

- Роман начинается так, - объясняет Сименон. - Я пишу на чем попало имя человека, имена членов его семьи, родственников, друзей. На другом листке я записываю род его занятий, связи. На третьем - вычерчиваю план его дома. И, живя жизнью этих людей, уже потом я начинаю думать, что между ними могло произойти.

В этой никак не ожидаемой особенности глубинного творческого процесса есть определенная закономерность: книги Сименона, очевидно, потому и человечны, что начинаются они с попытки разглядеть душу.

Под кровом Сименона время летит незаметно, мы уезжаем уже к вечеру, по русскому обычаю трижды расцеловавшись, и он долго еще стоит на крыльце виллы, глядя вслед машине, - подтянутый, собранный, уже старый писатель, глубоко убежденный, что самая высокая поэзия - это постоянное, неуемное, до последнего вздоха труженичество. И верность призванию.

Об этой верности мы размышляем всю обратную дорогу из Эпаланжа - советская история моего народа дала столько ее блестящих образцов, особенно в рабочей среде, среди бакинских нефтяников, но это совсем еще недостаточно, а порой и неверно отображено в созданных нами книгах.

Неверно то, что зачастую, раскрывая образ рабочего в поэме или романе, мы обязательно приводим его к финалу, в кресло директора или на профессорскую кафедру, тем самым превращая его рабочую биографию в нечто промежуточное, характеризуя его подъем этой метаморфозой.

В действительности же, поднимаясь внутренне, раскрываясь в лучших деяниях ума и сердца, такие рабочие, как Ага Нейматулла, Михаил Павлович Каверочкин, Уста Пири, Арсен Ванесов, Гюльбала Алиев, до конца оставались верными своему выбору и навечно прославили себя, оставаясь рабочими.

Представляя великолепную модель для художника, они явили собой живое воплощение ленинской мечты о рабочем новой, невиданной и неслыханной формации.

Может быть, находясь в эмиграции, в Швейцарии, здесь и думал об этом Ленин?

Весь следующий день мы ездим по памятным ленинским местам, забираемся в деревню Пюнду - к простому крестьянскому дому, теперь известному всему человечеству, в котором жил Ильич, к петляющей среди лугов дороге, по которой он ездил на велосипеде, к зеленоватой глади горного озера, у которого он любил посидеть с удочкой.

Еще день, переезд в Цюрих, где нас ждет земляк-бакинец, представитель Аэрофлота Николай Кочаров, затем самолет Цюрих - Вена - Москва...

...По возвращении в Баку я передал на временное хранение землю, привезенную с могилы Михайло, - скоро, совсем уже скоро закончится сооружение скульптурного памятника (это произведение недавно скончавшегося нашего выдающегося скульптора Фуада Абдурахманова), а в постамент будет замурована частица праха героя.

Это была давняя мысль: привезти эту частицу и соединить ее с родной землей. Мы обязаны отдать долг мертвым, хотя перед теми, кто пал, грудью остановив фашизм, мы в долгу неоплатном.

Прошли осень, зима, весна, снова наступило лето, а я не прикасался к мозаике этих записей, но потом подумал: я еще не так стар, чтобы писать воспоминания, но и не так молод, чтобы не тревожиться еще об одном долге.

О нем постоянно напоминают два сувенира, переданные мне Марией от имени итало-югославских сопротивленцев-коммунистов: крохотный транзисторный радиоприемник («это, чтобы слушать мир») и простенькая, но изящная авторучка («чтобы писать»)...

И хорошо сказано моим народом: «Здоровья должнику, дабы он мог вернуть долг».

Баку, январь 1972 года.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С той поры минуло почти целое десятилетие, и факт, что, в сутолоке дел проскакивая мимо фонтана Треви, мы с Кудрявцевой не бросили в него ни одной монеты, все-таки «сработал» - за все это время я поездил по многим далеким странам света, но мне ни разу не довелось вновь побывать в Италии.

С тех пор изменилось многое. Ушел туда, откуда никто не возвращается, милый гостеприимный Карло Леви; не так давно пришла скорбная весть о кончине Адамоли, предлагавшего породнить Баку и Триест.

Приезжал в Москву Моравиа, мы встретились на нашем писательском съезде, но желания поехать посмотреть Азербайджан он уже не выразил. Что ж, не все желания осуществляются, да и настроения изменчивы. Не это страшно. Гораздо хуже, когда меняются убеждения: вот Парезе, казалось бы так озабоченный судьбами мира на земном шаре, удрученный разгулом неофашизма в своей стране, как я слышал, лихо переметнулся на манеж, где паясничают всякого рода недруги моего отечества.

Возможно, он и сейчас пробует выдать себя за ратоборца прогресса, но в теплице лицемерия не созрел еще ни один литературный дар. Встреться мы еще раз, разговор у нас был бы иной - горчит во рту хлеб, которым он угощал. Впрочем, я бы и не встречался - снова, наверное, поехал бы вдоль побережья Адриатики, повидался бы с теми, кто считал Сопротивление единственным способом свергнуть шею ненавистной фашистской гидре, поклонился бы могилам павших в этой священной битве, а потом проехал в Словению - туда, в маленькую горную деревушку, где лежит «Михайло», мой любимый Мехти.

Проходит время, но он не уменьшается в сознании, а продолжает расти, расти, расти...

Баку, май 1979 года